

русское

реверансы

Составитель
Никита Елисеев

Русское: Реверберации

«Издательство Ивана Лимбаха»

2023

УДК 821.161.1«18/19»-3

ББК 84.3 (2=411.2) 52 + 84.3 (2=411.2) 6-44

Русское: Реверберации / «Издательство Ивана Лимбаха», 2023

ISBN 978-5-89059-512-6

В сборник вошли произведения классические и современные, хрестоматийные и не очень известные. Впрочем, малые жанры русской прозы вообще не так хорошо знакомы читателю, как классические русские романы. В культурной памяти нашего времени и нашей страны последние живут благодаря экранизациям, создавая зрительные представления о русской жизни. Повести и рассказы экранизировать не принято. Сборник может добавить новые образы, расширить палитру восприятия прошлого и того, что осталось от него в современности. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 821.161.1«18/19»-3

ББК 84.3 (2=411.2) 52 + 84.3 (2=411.2) 6-44

ISBN 978-5-89059-512-6

, 2023

© Издательство Ивана Лимбаха, 2023

Содержание

Никита Елисеев	6
Лесков	8
Наум Ним	11
Война и литература	16
Сюжет. Александр Иванов / Даниил Хармс	18
Николай Лесков	21
Глава первая	21
Глава вторая	22
Глава третья	23
Глава четвертая	24
Глава пятая	25
Глава шестая	26
Глава седьмая	27
Глава восьмая	28
Глава девятая	29
Глава десятая	30
Глава одиннадцатая	31
Глава двенадцатая	33
Глава тринадцатая	34
Глава четырнадцатая	35
Глава пятнадцатая	36
Глава шестнадцатая	37
Глава семнадцатая	38
Глава восемнадцатая	39
Всеволод Гаршин	40
Антон Чехов	47
Александр Иванов	68
Конец ознакомительного фрагмента.	76

**Русское: Реверберации:
Повести, рассказы, новеллы
Составление Никиты Елисеева**



**НЕЗАВИСИМЫЙ
АЛЬЯНС**

Благодарим Аллу Липидус за помощь в подготовке настоящего издания



- © М. Л. Слонимский (наследники), 2023
- © Б. А. Лавренев (наследники), 2023
- © М. М. Зощенко (наследники), 2023
- © Д. И. Хармс (наследники), 2023
- © 1945 Copyright by Vladimir Nabokov
- © С. Б. Ильин, перевод (наследники), 2023
- © А. И. Солженицын (наследники), 2023
- © Фонд по управлению наследственным имуществом Иосифа Бродского
- © Наум Ним, 2023
- © Н. Л. Елисеев, составление, вступительная статья, 2023
- © Клим Гречка, оформление обложки, 2023
- © Издательство Ивана Лимбаха, 2023

Никита Елисеев

Русское о русском

Литература создается читателем. Маяковский в ранней футуристической статье «Два Чехова» верно, но слишком хлестко, наотмашь заметил: «До Чехова вся русская литература была средством перетащить действительность за ворота дворянских усадеб». Так уж и вся... Фаддей Булгарин и Осип Сенковский (Барон Брамбеус) не для дворянских усадеб писали. Пушкин зло и точно обозначил круг читателей этой бульварщины: «сидельцы Гостиного двора». Уточним и мы социологическую метафору Маяковского. Чем была, есть и остается сильна русская классическая литература? Длинными, почти бессюжетными, но напряженно психологичными романами с тщательно выписанными характерами, пейзажами и чуть ли не натюрмортами. Такие романы можно читать с любого места, а если подряд, то никакой необходимости (читательской) запоминать, что там, в предыдущих главах, – нет. Сюжетно, событийно – то же, что и было.

Почему? Дворянская усадьба. Долгое размеренное время. Особенно зимой. Иван Бунин вспоминал: его отец долгими зимними вечерами перерешал все алгебраические и геометрические задачи в гимназических учебниках. Нет, не помогая сыну делать уроки, сам по себе. А тут роман, неспешный, отменно длинный, не подстегивающий внимание, но внимания требующий: вот Обломов на диване лежит, вот Анна Аркадьевна от разделенной (или неразделенной) любви страдает, Пьер Безухов смысл жизни ищет, Наполеона хочет убить, Раскольников смысл жизни нашел и... потерял. Повторюсь: что в предыдущих главах было, помнить не обязательно.

Это читатель Филдинга волнуется: что ж там дальше с Томом Джонсом? Спасся? Должен спастись: продолжение впредь. Спасется. А как? – предыдущий фрагмент запоминается до выпуска следующего, который, как горячие пирожки с прилавка, сносится читателем, вожделующим узнать: как там Том Джонс? Оливер Твист? Кандид? Д'Артаньян?

Когда такой читатель стал появляться в России, стала изменяться литература. Не сразу, не в одночасье. Поначалу по краям. Читательский запрос в огромной библиотеке обрабатывается медленно. Инерция чтения и писания огромна. Время расцвета великого русского романа, длинного, почти бессюжетного, как раз время великих реформ Александра Второго. После (и в ходе) этих реформ в России стали появляться достаточно образованные, много работающие и работающие горожане: студенты, адвокаты, инженеры, предприниматели, интеллигентные высококвалифицированные пролетарии. На мякине Фаддея Булгарина и Осипа Сенковского (Барона Брамбеуса) их было не провести.

Великолепный краснодеревщик, создатель первого русского рабочего (нелегального, само собой) профсоюза, по совместительству террорист, Степан Халтурин в сундучке рядышком с динамитом, которым рванет треть Зимнего дворца, хранил... «Философские повести» Вольтера: «Кандид», «Задиг», «Простодушный». Приключений – выше Александрийского столпа, но и подумать есть над чем. Чего стоит один только «достоевский» вздох в финале «Простодушного»! «Нет худа без добра! Но сколько людей могли бы сказать: „Из худа не бывает добра!“». Он многого стоит, этот вздох.

Достоевский тут не с ветру взят. Первой попыткой писать для интеллигентного работающего горожанина, писать так, чтобы интересно и не бездумно, а очень даже многдумно, были романы Достоевского. Это он попытался привить к классической розе русского психологического романа дичок европейской остросюжетной европейской прозы. Недаром он любил Диккенса (впрочем, кто ж Диккенса тогда в России не любил!). Недаром ненавистник Достоевского Набоков (ненависть говорит о чем-то важном, о чем-то, о чем ненавидящий говорить

не хочет) называл почвенника и русского националиста, бывшего фурыериста и политкаторжанина «самым европейским писателем России». Недаром автор в свое время популярных (ныне забытых) первых русских детективов Шкляревский в подпитии, в обиде кричал Достоевскому в тоне и смысле героев Достоевского: «А что ты нос передо мной задираешь? Ты такой же, как и я, только хуже. Такую же „бульварщину“ лепишь, только с закидонами. А закидоны твои никому не нужны, поэтому и хуже!»

Жаль, что про этот скандал не знал Набоков. Ему бы понравилось. И то сказать: Шкляревский все верно обозначил. У Достоевского получалось (и получилось) нечто несусветное, предопределившее его будущий мировой успех и некоторое недоумение читательской массы: бульварщина с философией; сюжет теряется в нагромождении нервных диалогов и полубезумных монологов. Нет, революционное обновление романного жанра – не то, чего ждала (сама того не зная) читающая публика реформенной и пореформенной России.

Здесь надо учитывать вот какое немаловажное обстоятельство, то, к которому я весьма извилисто (а по другому не умею) веду читателя: дворянство, даже поместное, – элита. Не Россия, но то, что над Россией – над крестьянами, купцами, сидельцами Гостиного двора, однодворцами или вольными хлебопашцами. И писатели-дворяне, и читатели-дворяне смотрят на Россию, на русское – со стороны. Иное дело читатель и писатель реформенной и пореформенной России. Сословия перемешиваются: дворяне разоряются, крестьяне богатеют. В городе их дети встречаются. Бывает, что и в ревкружках: дочь петербургского генерал-губернатора Софья Перовская и сын крепостной крестьянки из крымского села Кашка-Чекрек Андрей Желябов, например. Они говорят на одном языке на равно интересующие их темы. Они не смотрят на Россию со стороны. Они сами и есть Россия.

Им, по уши занятым делом (в данном случае неважно, каким – революционным, медицинским, юридическим, предпринимательским), не то чтобы не осилить «Анну Каренину» или «Войну и мир» – нет, прочесть – прочтут и не без интереса, но нужно что-то другое, динамичное, лаконичное, с минимумом подробностей или с подробностями лихими, мушкетерскими.

Один из них, Илья Мечников, в ответ на вопрос о Достоевском поморщился: «Скукотень. Не люблю. Студент старушку и полоумную бабу топором укоцал и весь роман ходит, ходит, страдает. Вот „Три мушкетера“ – вот эта книга. На одной странице – пять трупов! И дальше понеслось. Интересно...» Крайний случай, потому что для большинства русских читателей, в русской традиции сформированных, литература – дело серьезное, идейное, а для большинства русских писателей, в той же традиции сформированных, работа с сюжетом – дело непривычное, не на то русская литература была нацелена, не под то заточена.

Значит, нужно быстро, умно, коротко, чтобы за один вечер, максимум за два. И о русском. О том, о чем читатель знает, в чем живет. Тогда и стала появляться настоящая русская новелла о русском. Этот сборник из таких новелл состоит. Новеллы почти все попарны. Почему? Попытаюсь объяснить на примере нескольких. Одна новелла сама по себе. Последняя. Она особенно интересна, поэтому – без объяснений.

Лесков

Рискну предположить, продолжив набоковское определение: если уж Достоевский – «самый европейский писатель России», то Лесков – самый американский русский писатель. Потому и стал первым и лучшим русским новеллистом. Одну свою новеллу предварил ссылкой на Брет-Гарта. В серьезной и обстоятельной работе «Еврей в России», написанной по заказу комиссии Ливена, решавшей, отменять или не отменять черту оседлости для евреев (Лесков доказывал: отменять и немедленно) он á rgoros заметил: «Всем историям о человеке, потерявшем свою тень, я предпочитаю одну-единственную повесть про всадника без головы».

Он, вообще, по-американски, по-хемингуэевски умел á rgoros заметить нечто очень важное. Однажды заметил: «Сейчас все обращают внимание на то, как я пишу; придет время и поймут, чтó я пишу». И то: самая распространенная похвала Лескову – похвала его языку, лесковское узорочье, лесковский сказ, сочный, настоящий, русский... и прочее. Между тем нельзя не согласиться с набоковским Годуновым-Чердынцевым: лесковские «Аболоны» несколько нарочиты и утрированы. В «Сказе о Левше», например, они заслоняют трагическую суть истории про русского гения, которого полицейские головой «о парат» – хрясь! – и нет русского гения, и один только английский шкипер волнуется: «Где тот славный парень, с которым так хорошо выпивали?» Всем остальным – плевать. Мастеровым – меньше, мастеровым – больше: подумаешь. Впрочем, в этом тексте Лесков, может, и сознательно затенял, затемнял трагедию «аболонами» и «верояциями». Не знаю. Николай Семенович Лесков был человек таинственный. И писатель таинственный.

Так или иначе, но самые сильные его новеллы те, где он без всяких «верояций» и «аболонов» сухо, четко, почти протокольно излагает суть дела. Никаких *как* – сплошное *что*. Синтаксис – ясен. Предложения – коротки. Авторский голос нейтрален. Деловая проза. Айсберг. Лучший образец такого айсберга – «Человек на часах». На поверхности – обличение жестокости, бесчеловечного абсурда предыдущего (никалаевского) царствования и изошренного псевдоинтеллектуального лицемерия, эти жестокость и абсурд оправдывающего. Чуть глубже все же *как*: изумительная архитектура повествования (простую историю изложить как детектив, ступенчато, чтобы читатель вслед за повествователем поднимался со ступеньки на ступеньку изгибчивой лестницы, влекомый желанием узнать: что дальше, какие виды и перспективы откроются на новой ступеньке?), ритм – не новелла, стихотворение в прозе: «Четки. Тихоструйный лепет».

А вот поглубже: *что*. И это *что* не названо. Оно очерчено на последней ступеньке, в последней главке под четки и тихоструйный лепет митрополита Серафима. Никого христианин Лесков не ненавидел так исчерпывающе, так убедительно, как православных иезуитов. Он мог бы перефразировать шутку Вольтера: «Атеистов я прощу. Они просто не верят в Христа. Но вот этих... я не прощу никогда. Они Христа дискредитируют».

Вчуже нельзя не восхититься изошренной диалектикой митрополита Серафима, успокаивающего полковника, который приказал забить солдата шприцрутенами за то, что тот бросил пост у Зимнего дворца, спасая утопающего. (Правда, ни митрополит Серафим, ни полковник не вспоминают, что за спасение утопающего получил орден другой человек, никакого утопающего не спасавший, – важная деталь.) Но... диалектика митрополита Серафима, повторяюсь, изумительна.

Его аргументы хочется пересказать своими словами. Есть закон, государственный, армейский. Его же не преjdeши. Солдат бросил пост у государственной резиденции, у дворца императора. За это полагается наказание. Солдат это наказание получил. В чем проблема? Что вас, уважаемый полковник, законно наказавший солдата, гнетет? Солдат бросил пост, спасая тонущего в проруби человека? Но спасение гибнущего – не заслуга, но наипаче долг, вы

согласны? Долг человека. Вы хотите сказать: получается, что долг человека не совпадает с долгом солдата? Да, получается так, что эти долги разные, несовпадающие. В точке несовпадения этих долгов оказались вы, полковник. Вы же не награждаете каждого вашего солдата за то, что тот исполняет свой солдатский долг, будучи недвижим на своем караульном посту?

Если же вас мучает то обстоятельство, что солдат не исполнил бы свой человеческий долг, остался бы на посту и не спас утопающего, его не избили бы шприцрутенами за нарушение солдатского долга, то это прекрасно вас характеризует как человека доброго и совестливого.

Однако в этом случае солдат был бы наказан уже не вами, а Богом. Или прощен за деятельное, искреннее раскаяние. Это уже не ваша епархия, полковник. Не вам и не нам с нашим хилым, слабым, человечьим умишком решать, кого Бог покарает, а кого помилует.

Великолепное построение. С одним маленьким «но». Полковник-то нарушил долг солдата. Он не стал дожидаться конца разбирательства дела об оставлении солдатом поста. Он сразу, ничтоже сумняшися, погнал его сквозь строй. А когда «выяснилось»: солдат пост не оставлял, пьянчужку из проруби спас светский хлыщ, проезжавший по набережной, полковник не написал рапорт и – чеканя шаг – не пришел рапортовать: «Спас человека – мой солдат. Хлыщ всего только довез вытянутого из проруби моим солдатом пьянчужку до полицейского участка. Мой солдат бросил пост, спасая человека, тем самым нарушил Устав караульной и постовой службы. Он уже понес заслуженное наказание. За расшатанную дисциплину в моем полку я готов получить любое взыскание». – «Вольно, полковник!» Однако полковник так не сделал, поскольку прекрасно понимал, что за этот четкий и честный рапорт ему влепят строгача, а весь его полк отправят из Петербурга в Усть-Сысольск сторожить водочные склады.

Поставим мысленный эксперимент. Перенесем ситуацию «Человека на часах» на Запад, «в чуждое семейство». Представим себе, как аранжировали бы тему несовпадения долга солдата и долга человека Киплинг в военно-колониальных рассказах и Альфред де Виньи в «Неволе и величии солдата». Развязка, разумеется, трагическая, точка несовпадения долгов – командир. У светского хлыща отнимают медаль за спасение утопающих. Более никакого наказания – пусть живет с таким позором, как присвоение чужого подвига, если сможет.

Солдату торжественно вручают заслуженную им медаль и тут же... гонят сквозь строй или под гром барабанов – пеллотон! Расстрел. У Альфреда де Виньи, пожалуй, еще и светский хлыщ в толпу зевак, наблюдающих за наградой/наказанием, затесался бы и стоял потрясенный, сбитый с толку несовпадением солдатского и человеческого, неволей и величием солдата.

Продолжим мысленно экспериментировать. Представим себе позднесоветскую (самиздатскую, тамиздатскую) новеллу на ту же тему. Скрепки подрасшатались, устои не те. Полковник не будет спешить с наказанием. Подождет. («Никогда не спеши выполнить приказ, он всегда может быть отменен» – неписанный советско-армейский закон СА, – а уж если приказа нет, тем более не спеши...) Фу-у-у-ух, от сердца отлегло. Мой солдат пост не бросил, пьянчужку спас городской пижон. Солдат моего полка, как штык, стоял на посту, неколебимо, как Россия. «Выходи, обормот, человеко-спаситель, спасатель, растудыт твою в качель. Иди служи. И гляди у меня...»

Но у Лескова-то получается нечто несусветное, абсурдное: если солдат не бросал свой пост, спасая человека, то за что его лупить шприцрутенами? Если он спас человека, бросив свой пост, то почему медаль за спасение утопающего получает кто-то другой? Словно бы западное, правовое, юридическое (закон есть закон: *dura lex sed lex*) соединилось с восточным (есть нечто выше закона, или человеческое или Божественное) и в этой точке соединения взаимоничтожились.

Вместо четкого следования закону и героического следования человеческому – НИЧТО, ПУСТОТА, АБСУРД – прикрытые искусной демагогией под четки и тихоструйный лепет. Вот в этой-то точке взаимоуничтожения Запада и Востока (в Азиопе, а не в Евразии) и появляется нечто важное и непреложное, не ложное, но истинное: тот самый человек на часах, вокруг

которого закручено все повествование. Именно о нем говорит митрополит Серафим, можно себе представить, с какой ухмылочкой: «Спасение утопающего – не заслуга, но наипаче долг». Именно о нем пишет Лесков с угрюмой торжественностью в эпилоге: праведник, подразумевая, что вокруг него – винтики сошедшей с ума машины.

Кто он? Раб, способный спасти другого, а себя не то что спасти – защитить не могущий? Есть ведь и еще один слой новеллы-айсберга, басенный, с моралью: «Скромность – явление антиобщественное, асоциальное потому, что если ты не берешь свое по праву, возьмет другой без всякого права, а ты получишь за свое большое добро колотушки и посещение начальника, который обеспечил тебя колотушками, дескать, как чувствуешь себя, соколик? А... помираешь... Жаль».

Самое страшное в новелле-айсберге то, что избитый до смерти человек, закованный палками насмерть, не чувствует несправедливости, с ним сотворенной. Он не зол на мироздание. Он стопроцентно согласен с псевдодialeктикой митрополита Серафима: так устроен мир, что поделаешь. Он ведь не Бог, не ему мир менять. Богу виднее, а он потерпит. В этой кротости, в этом терпении есть нечто пугающее. Уже хотя бы потому пугающее, что волей-неволей возникает вопрос: как долго просуществует этот человеческий тип.

Наум Ним

Такая новелла не могла не отозваться эхом в последующей литературе. Она и отзывалась. Нескоро. Совсем в другое время, но на том же пространстве. Рассказчик, повествователь новеллы Наума Нима «До петушиного крика», – диссидент андроповского времени, в тюремной камере читает и перечитывает «Человека на часах», и эпиграф к новелле Нима из Лескова – насчет того, что подобная история могла случиться только в России. Предполагается, что и эта, новая, история могла случиться только в России. Справедливо предполагается.

Надо бы пояснить, кто такой Наум Ним. Лескова-то все, хоть и понаслышке, да знают. А Наума Нима далеко не все. Уроженец белорусского города Богушевска, отважный распространитель самиздата, он попал под мощный андроповский удар по остаткам диссидентского движения. Андроповский удар был сдвоенным. Руководитель КГБ, ставший генсеком, фактически руководителем Советского государства бил (одновременно) по двум врагам – идеологическим – диссидентам, и экономическим – королям «черного рынка».

(Если подумать, то по двум друзьям советского общества: одни помогали людям осознавать, формулировать, где их угораздило родиться и жить, другие помогали людям... материально, хоть что-то можно было благодаря им купить. Но это – в скобках.)

В тюрьмах диссиденты и короли «черного рынка» встретились. Они были равно удалены от окружающего их тюремного, уголовного мира, существующего по своим неписаным, но куда более жестким, куда более жестоким и незыблемым, чем советские, законам, и друг от друга. Взаимонепонимание этих людей прекрасно очерчено Наумом Нимом в новелле «Звезда вечерняя и утренняя».

Король «черного рынка» интересуется у диссидента, за что тот сел. Диссидент объясняет. «И сколько ты за эти книжки получал?» – спрашивает король. Диссидент объясняет, что получил срок. Король усмехается (хорошая шутка) и уточняет: мол, сколько тогда, до ареста, получал? Диссидент честно говорит: НИЧЕГО. Король «черного рынка» потрясен. Как же так? Сам он рисковал так же, как и его собеседник, умный, спокойный человек, совсем не идиот, но за свой риск до ареста получал бабки, тачки, дачки, телок в шампанском купал, а этот... ничего. Тогда ЗАЧЕМ?

Уже в этой юмористической сценке (юмор, разумеется, черный) – эхо «Человека на часах»: ЗАЧЕМ вытаскивать из проруби пьянчужку, который по дурости поперся по весеннему льду, да еще напрямиком к Зимнему дворцу, если за это ты получишь шприцрутенами по спине? ЗАЧЕМ распространять запрещенные книжки, если за это – только срок и никакого навару? Долг? Перед кем? Перед чем? Совесть? С ней всегда можно договориться.

Юмористическая эта сценка становится в новелле «До петушиного крика» трагедией. Опять-таки сдвоенным ударом – и по диссиденту, и по королю «черного рынка». Только на этот раз не андроповским, а тюремным, уголовным. Ударом по совести диссидента и по телу короля «черного рынка». Он нарушил неписаный закон тюрьмы. Он подставил всю камеру под удар. Вся камера из-за него была наказана. Теперь он будет наказан. Его опустят. Его сделают «петухом». Сначала подвергнут унижительной игре с прежним «петухом», а потом (если проиграет) опустят.

Диссидент наблюдает за этим со стороны. Не вмешивается. Закон. Не заступайся за человека, если он сам себя не защищает. Неписанный, неколебимый. Снова айсберг (раз образ прицепится – уже не отцепишь). На поверхности – инструкция, как вести себя в тюрьме, чтобы не быть «опущенным», как, например, за шаг до «опускания» не совершить этот шаг. Не ошибиться. Не поддаться на уловку. Финальная сцена – крик боли человека, который теперь «петух», «петушинный крик». Человек-то думал, что, дергая изо всех сил за скрученную нитку, причиняет боль другому, а причинял себе – вот и заорал от себе нанесенной боли. Проиграл.

Другой уровень, едва ли не басенный: боль, которую ты стараешься причинить другому, вернется к тебе сторицей. Так уж в мире, и не только в тюремном все перепутано. Впрочем, морализовать Наум Ним не собирается. Он рассказывает историю. Морализовать, делать выводы – прерогатива читателя. Возможен и такой вывод: кто ломается в тюрьме? Тот, у кого, помимо материального (сытно жрать, сладко спать, телок в шампанском купать), имеется еще что-то. Например, «Человека на часах» перечитать и над перечитанным подумать.

Тут и происходит некий сбой или переход на другой уровень. Почему «Человек на часах» становится подспудной темой новеллы Наума Нима? Почему диссидент, со стороны наблюдающий за тем, как человек ломается, как человека ломают, перечитывает именно эту новеллу? Новеллу о двух долгах: профессиональном (у Лескова – солдатском) и человеческом. Писательский долг диссидент исполняет. Он запомнит эту историю. Он изложит ее граду и миру, *urbi et orbi*. Точно так же до ареста он исполнял общественный долг, распространяя запрещенную литературу, честную, умную, талантливую.

(Не могу не отметить один (неловко употреблять это слово, но иного не подберу) юмористический поворот судьбы Наума Нима. Он продолжал сидеть и при Горбачеве. Перестройка и гласность набирали обороты. Перестроечные журналы вовсю, наперегонки печатали разрешенную «запрещенку». Тиражи журналов вспухали до миллионов. А Наум Ним, ту же самую «запрещенку» распространявший в количестве от силы 30 экземпляров, за это самое распространение продолжает отбывать срок. Юмор опять-таки черный. От этой шутки судьбы не обхохочешься, но это... шутка судьбы.)

Однако вернемся к вопросу: почему «Человек на часах»? Постовой бросил пост, чтобы спасти человека, зная, что за это его ждет наказание. Однако – бросил пост, спас человека. Ситуация-то зеркальная. Диссидент не может вмешаться. Не может защитить человека. И его не спасет, и себя погубит. Он наблюдает. И только. Для себя он оправданий не ищет и не находит. Оттого и название: «До петушиного крика». Трижды кричал петух и трижды отрекался Петр от Христа. Поскольку слаб человек, даже если человек – апостол.

Вы уже поняли: я разглядываю представленные вам новеллы, словно одна была эхом другой. В случае с «Человеком на часах» и «До петушиного крика» эхо очевидно (ухом слышимо). В конце концов, Наум Ним и эпиграф берет из лесковского рассказа, и один из главных героев лесковский текст читает. В случае с новеллами Набокова и Солженицына связь может показаться произвольной, притянутой за уши. Мало ли что с чем можно сравнить. «Дилетант ищет сходства. Профессионал – различия» (Набоков).

В самом деле, «Групповой портрет, 1945» – юмореска. «Случай на станции Кочетовка» – один из самых трагических рассказов в русской литературе. Набоковский стиль, легкий, изящный, противоположен обстоятельному описанию Солженицына, так же как противоположны места действия этих двух рассказов: уютная богатая Америка и воюющая (воюющая от боли) нищая Россия. Так же, как противоположны авторы двух этих рассказов: либерал-космополит, изо всех сил подчеркивающий свою аполитичность, и почвенник-консерватор, политизированный до последней степени.

Так же, как противоположны герои двух этих рассказов – веселый, остроумный эмигрант и замотанный, мрачный советский лейтенант, который рвется на фронт, а его держат в тылу руководить военными перевозками. Эха тут (казалось бы) и быть не может. Слишком уж писатели разные. Один только раз в тексте (в самом знаменитом тексте) Солженицына прорвалось, вырвалось... набоковское. Вряд ли осознанно. В пору работы над «Архипелагом ГУЛАГом», в пору дружбы и с московской элитой и с западными славистами Солженицын по своей писательской, профессиональной добросовестности старался прочесть все антитоталитарное.

«Приглашение на казнь» ему понравиться никак не могло. На уровне сознания он этот текст и не заметил. Сказка. Декадентщина. Тем удивительнее финал набоковской фантазмагии ворвался в финал одной из самых сильных глав в «Архипелаге...», в финал главы о подго-

товке процесса над Бухариным. Солженицын предполагает, что если бы Бухарин не поддался на иезуитские уговоры следователей и выкрикнул бы:

«— Нет, *с вами* мы не революционеры!.. Нет, *с вами* мы не русские!.. Нет, *с вами* мы не коммунисты!», то...

«А кажется, только бы крикнуть! — и рассыпались декорации, обвалилась штукатурка грима, бежал по черной лестнице режиссер, и суфлеры шнырнули по норам крысиным. И на дворе бы — сразу шестидесятые!»

Образ сталинских срежиссированных процессов как образ кое-как поставленного спектакля: тхни — и декорации повалятся, — набоковский образ из финала «Приглашения на казнь»: «...только задние нарисованные ряды оставались на месте. (...) Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. (...) Свалившиеся деревья лежали плашмя, без всякого рельефа, а еще оставшиеся стоять, тоже плоские, с боковой тенью по стволу для иллюзии круглоты, едва держались ветвями за рвущиеся сетки неба. Все расплзлось. Все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашенные щепки, мелкие обломки позлащенного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая мгла; и Цинциннат пошел среди пыли и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему». То есть «на дворе — сразу шестидесятые» — сталинский морок рассеялся для всех, в том числе и для русского революционера и коммуниста Бухарина.

Такое эхо возможно хотя бы потому, что «Приглашение на казнь» было написано до «Архипелага ГУЛАГа» и широко курсировало в самиздатской среде, но «Групповой портрет...» написан в 1946-м, когда Солженицын уже сидел, а в России появился только в нулевых. Ни Солженицын не мог прочесть набоковскую юмореску, когда писал «Случай...», ни тем более Набоков в 46-м — рассказ Солженицына.

Тем любопытнее эхо. Тем оно неслучайнее. Начнем с героев. С лейтенанта Зотова и повествователя «Группового портрета...». При всей их противоположности кое-что общее в них есть. Прежде всего — автобиографичность. В новелле Набокова, помимо очевидного юмора, есть и юмор подспудный. Он заключается вот в чем: здесь, в Америке, живет молодой эмигрант, весьма мне (автору) близкий и по взглядам, и по образу жизни, но его (этого молодого эмигранта) постоянно путают с кем-то другим, нисколько не близким ни ему, ни мне. Путают потому, что фамилия и имя одно и то же, и еще потому, что для глядящего со стороны все русские эмигранты на одно лицо — все за царя-батюшку, великую Россию, против жидов и революционеров — белые, понятное дело. Автобиографичность Зотова по отношению к Солженицыну сложнее, мучительнее. Солженицын не раз говорил и писал, что описывал себя тогдашнего, что и сам бы мог поступить так, как поступил Зотов. Он в сам текст этого рассказа помещает себя тогдашнего, как союзника, единомышленника (применим термин, придуманный Михаилом Гефтером), сопластника. Зотова. Вот это место:

«Недавно, по дороге сюда, Зотов прожил два дня в командирском резерве. Там был самодеятельный вечер, и один худощавый бледнолицый лейтенант с распадающимися волосами прочел свои стихи, никем не проверенные, откровенные. Вася сразу даже не думал, что запомнил, а потом всплыли в нем оттуда строчки. И теперь, шел ли он по Кочетовке, ехал ли поездом в главную комендатуру Мичуринска или телегой в прикрепленный сельсовет, где ему поручено было вести военное обучение пацанов и инвалидов, — Зотов повторял и перебирал эти слова как свои:

Наши села в огне и в дыму города...

И сверлит и сверлит в иступлении

Мысль одна: да когда же? когда же? когда

Остановим мы их наступление?!

И еще так, кажется, было:

Если Ленина дело падет в эти дни —

Для чего мне останется жить?

«Худощавый, бледнолицый лейтенант с распадающимися волосами» сам Солженицын и есть. Это его стихи, написанные в 41-м. Пройдет три года, и он напишет жене перед тем, как с советскими войсками пересечь границы СССР в западном направлении: «Мы стоим на границе войны Отечественной и войны революционной». После лагеря и ссылки, после переоценки ценностей он пишет рассказ о всем своем поколении, дезориентированном в социальном пространстве настолько, что каждый, по мнению Солженицына (это принципиально: на самом деле — далеко не каждый, все зависело от ситуации, в которую бывал погружен КАЖДЫЙ. — Н. Е.), может принять пожилого интеллигента за вражеского диверсанта.

Повествователь «Группового портрета, 1945» нимало не дезориентирован, он верно понимает: господин Шу — его враг. Агент влияния, даже если он не завербован издыхающей немецкой разведкой. Но есть одно обстоятельство, которое сближает этого молодого русского эмигранта с лейтенантом Зотовым. И тот и другой — антифашисты. И тот и другой всей душой желают победы над Германией, над страной, поверившей своему фюреру. Никаких переговоров с фашистами, только безоговорочная капитуляция — с этим согласны и молодой русский эмигрант, и лейтенант Зотов.

Ради этой победы они готовы на все. Или на почти все... Вот и еще один пункт сближения двух таких разных героев, двух таких разных новелл, двух таких разных писателей. В этом пункте слышнее эхо. Пуант двух новелл — донос. Что делает повествователь «Группового портрета, 1945», когда приходит домой после посиделок в компании, где господин Шу рассказывал, как замечательно было в нацистской Германии, как радостно встречали германские войска в занимаемых ими городах, как великой Германии подло и коварно гадило мировое еврейство? Он садится писать донос в ФБР: по нашему американскому городу бродит агент влияния нацизма, он занимается нацистской пропагандой.

Агент ли влияния этот господин Шу? Бог его знает. В конце концов, может, у него такие взгляды. Свободу слова в Америке никто не отменял. Высказывает свои взгляды и пусть высказывает. А вы свои выскажите. Собственно, и это тоже останавливает главного героя рассказа Набокова «Групповой портрет, 1945». Какие основания у него для подозрения господина Шу в шпионаже в пользу Германии? Слова? И все? Маловато для серьезных оснований.

Лейтенанта Зотова ничего не останавливает. Разве что немного притормаживает личная симпатия к несчастному пожилому интеллигенту-окруженцу. Его вышибает всего одно слово: «Царицын» вместо «Сталинград». И не одна социальная дезориентация поколения Солженицына, Павла Когана, Бориса Слуцкого, Михаила Кульчицкого, Давида Самойлова тому виной. Тому виной обстановка, в которую попал лейтенант Зотов. Он ведь постоянно на грани нервного срыва. Он тяжело работает, недосыпает, он окружен бестолковщиной, воровством, постоянными ЧП, он знает, что оккупанты уже готовы к штурму столицы его родины — как тут не превысить меру бдительности?

Вернемся к «Групповому портрету...». Молодой русский эмигрант находится совсем не в таком положении, как лейтенант Зотов. Война идет далеко. Он знает о ней, но в ней не живет. Тем не менее и он, заподозрив господина Шу в шпионаже в пользу (фактически уже разгром-

ленной) Германии, готов написать донос в компетентные органы. Если бы дело происходило не во время войны, а после нее – попросились бы пальцы молодого антифашистского эмигранта к перу, а перо к бумаге? Нет, конечно. Выслушал бы чушь про освободителей Европы – нацистов, пожал бы плечами и ушел домой.

А теперь продолжим ситуацию, продлим ее, домыслим... Что было бы, если бы повестователь «Группового портрета...» был бы потемпераментнее? Написал бы донос в ФБР и отослал? Да ничего бы не было. Вызвали бы господина Шу (если бы нашли), поговорили, вздохнули: «Ну что ж... есть и такое мнение...» И господин Шу спокойно бы пошел дальше беседовать про освобождение Европы от жидов и большевиков немецкой армией.

Что было бы, если бы в той организации, куда сдал заподозренного им в шпионаже пожилого интеллигента лейтенант, работали люди вроде фэбээровцев? Ничего бы не было. Не склеили бы дело из ничего, не погубили бы невинного человека, не взвалили бы греха на душу другому человеку. Выяснили бы обстоятельства оговорки, усмехнулись бы, посоветовали бы Зотову высыпаться – и все. А не с людоедской ухмылочкой: «У нас брака не бывает...» Такое вот эхо под девизом: «Почему Россия не Америка?»

Война и литература

«Из памяти изгрызли годы, за что и кто в Хотине пал, но первый звук хотинской оды, нам первым звуком жизни стал». Хошь не-хошь, а война крепко-накрепко связана с литературой России. «Разрыв-травой, травую повиликой мы прорастем по горькой, по великой, по нашей кровью политой земле», не дойдя до Ганга, погибнув на речке Шпрее, потому что «война – совсем не фейерверк, а очень трудная работа, когда черна от пота вверх ползет по пахоте пехота», поэтому не стоит верить пехоте, когда она «бодрые песни поет», а вот когда песни отчаянные, мрачные, безнадежные – вот таким песням стоит верить. Так им и верят, и верили. Или не хотят верить.

Почему так рассердились на Льва Толстого ветераны Отечественной войны 1812 года? В основном генералы и один ветеран-ополченец, Петр Вяземский? У Петра Вяземского – личная причина. Кто этот Пьер (Петр) Безухов, в очках и цилиндре нелепо и бестолково мечущийся на поле Бородина? Не очкарик ли Петр Вяземский? Обидно. Но генералы выигранной войны рассердились на поручика-артиллериста войны проигранной (Крымской) не только потому, что пусть и поручик, но профессиональный военный убедительно доказывает: войну выиграли не генералы, а солдаты. Генералы были бездарны и заваливали противника труппами, а солдаты безропотно этими труппами валились, слой за слоем.

Не только потому, но еще и потому, что Лев Толстой изобразил войну как бессмысленное, жестокое, отвратительное, аномальное дело. Человекоубийство во всей его отвратительной красе. Надо признать, что не все он изобразил. Не все узнал про войну 1812 года, хотя старался узнать все, даже девичьи дневники тогдашних уездных барышень читал. Отодворец Сергей Суворин, например, ветеран 1812 года, своему сыну, будущему знаменитому журналисту России Алексею Суворину, такую картину в цветах и красках запечатлел. По полю, усеянному ранеными, убитыми, едет телега, в телегу валят окровавленных людей, слой за слоем. Когда телега наполнится всклянь, везут эту человеческую грудку, стонущую, вопящую, кровью истекающую, к медпункту. Там разгружают. Тех, кто уцелел после этой транспортировки, – в одну сторону, тех, кто нет (кого – нет, кто – мертв), – в другую. Сергей Суворин был в самом низу телеги, кровь сверху текла на него, он задыхался, но... уцелел. Даже сыну спустя много лет рассказал. А сын записал. В дневник. Если бы он такое тогда (в 1907 году) опубликовал, личная дружба с руководителями министерств и ведомств не помогла бы...

От величальных барабанных од Державина и Ломоносова к толстовскому пониманию того, что есть этот «не фейерверк, а очень трудная работа» – естественный, следует признать, путь. На этом пути крупная веха – «Четыре дня» Всеволода Гаршина, добровольца Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Крупная уже хотя бы потому, что это ведь рассказ будущего, рассказ из литературы «потерянного поколения», Хемингуэя, Олдингтона, Ремарка. Фронтовиков, добровольцев Первой мировой. Это они стали описывать войну как бесконечный жестокий ужас, о котором штатные пропагандисты не то что не подозревают, знать не хотят.

Сама ситуация рассказа, тот сюжетный (а равно и символический) стержень, на котором рассказ держится, оттуда, из литературы будущего. Тяжелораненый солдат оказывается рядом с трупом убитого им врага. Этот убитый им враг его спасает, потому что раненый вытаскивает у убитого флягу, вода из фляги держит раненого все четыре дня, покуда его не найдут свои. Свои? А этот убитый им человек – чужой? Вроде чужой, не сват, не брат, неграмотный египетский феллах, забили в армию, отправили спасать Османскую империю на Балканы. Ну а вокруг рядового Иванова, интеллигента-добровольца, который лежит рядом с убитым им человеком, не такие же неграмотные крестьяне, которых также забили и отправили на Балканы освобождать братьев-славян от турецкого ига?

Ладно, турецкий султан – дикий восточный правитель, но неужто у образованных профессиональных политиков нет никаких методов помочь угнетенным славянам Балкан, кроме вот этого средства: штыком в сердце, осколками снаряда по ногам? Штатные пропагандисты по поводу этого рассказа Гаршина взвоят: мол, пацифистский бред. Вой их не слишком убедителен, потому что Гаршин воевал, а они – нет.

Собственно, то, что сформулировано Гаршиным во всех его балканских военных рассказах, а в «Четырех днях» в особенности, после Первой мировой стало общим местом цивилизованной политики: только не война. Война – не продолжение политики другими средствами, а нарушение политики, антиполитика, катастрофа, из которой так просто не выбраться. Немало для того, чтобы это общее место стало общим местом, сделали писатели «потерянного поколения» в 20–30-х годах XX века.

Нельзя сказать (или написать), чтобы эта толстовско-гаршинская тема (война – безумие, нарушение хода естественной человеческой жизни, не решение проблем, а создание новых и не враз решаемых проблем) в русской литературе заглохла. Напротив, она мощным эхом отозвалась в России как раз тогда, когда начали писать литераторы «потерянного поколения» после Первой мировой (в России еще и Гражданской).

Антивоенная составляющая ранней советской литературы была весьма сильна, от «Ратных подвигов простаков» Андрея Новикова до «Варшавы» Михаила Слонимского с его безумным корнетом-убийцей («Ранен, контужен и за действия свои не отвечаю») и «Гала-Петера» Бориса Лавренева с жирующим на военных поставках Жоржем Арнольдовичем и несчастным фронтовиком, погибающим не пойми за что.

Потом эта составляющая была вышиблена напрочь милитаризмом победы в Гражданской, гумилевщиной Тихонова и Багрицкого: «Та страна, что могла бы стать раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем. Мы не ели четыре дня!» – «Он расскажет своей невесте о красивой лихой игре, как громил он дома предместий с бронепоездных батарей, как вагоны и водокачки умирали в красном дыму, как пленительные полячки присылали письма ему!» – вот это все... под лозунгом: «Можем повторить», а значит, хочется повторить...

Нельзя сказать, чтобы на Западе таких писателей не было. Да сколько угодно – один Эрнст Юнгер («В стальных грозах») чего стоит. Но не они оказались мейнстримом. А поначалу, в 20-х годах, порой и Гражданская война описывалась как безумие, зачеркивающее, уничтожающее самое главное, что есть на Земле – жизнь живого существа. О чем, собственно, и написан рассказ Евгения Замятина: «Рассказ о самом главном».

По вполне понятным причинам ни «Варшава» Слонимского, ни «Гала-Петер» Бориса Лавренева, ни «Рассказ о самом главном» Замятина мейнстримом не оказались. Слонимский и Лавренев сделали добротными советскими писателями, классиками... второго ряда, Замятин и вовсе был вышиблен из советской литературы. Умер в Париже в 37-м. С советским, впрочем, паспортом, но это уже другая история.

Сюжет. Александр Иванов / Даниил Хармс

Как писал во время оно протопоп Аввакум: «Возвратимся паки на первую беседу, отнюду же изыдохом». К истоку новеллы. К появлению нового читателя. Горожанина, образованного занятого человека, у которого времени нет на длиннющие романы, где главное – не сюжет, не фабула, а психология. Что, помимо краткости (по сравнению с романскими длиннотами), соблазнит такого читателя? Сюжет, фабула. Если будет сюжет, то, пожалуй, и толстенного «Монте-Кристо» проглотить можно будет.

Так вот с сюжетом-то у русских писателей была беда. *Пути пройденного у нас никто не отберет*. Плести сюжет русские писатели очень долго не умели. Не в той традиции были сформированы. Точность психологических характеристик? Пожалуйста. Пейзажи, которые не нарисованы красками, а описаны словами, а вот всё одно зримы. Сколько угодно. Душевные состояния, вплоть до безумия, – рука набита. Живая речь персонажей от крестьянского говора до городского жаргона, от областных диалектов до светской беседы? Имеется. Но придумать неожиданный сюжетный поворот до начала XX века, до появления совсем нового читателя и совсем новых писателей – пожалуй что нет... За исключением... Лескова. Но Лесков и сам по себе исключение. Повторимся, недаром он был так заинтересован американской остросюжетной литературой: Брет Гартом и Майн Ридом.

Сюжетная слабость русских писателей проверяется на шедевре русской классической литературы поэме в прозе Гоголя «Мертвые души», на ее первом томе и фрагментах второго. Историк и драматург Михаил Погодин, узнавший себя в Собакевиче, верно определил композиционную слабость этого текста. В сущности, пошутил он, перед читателем длинный коридор с комнатами. В одной комнате – один помещик, зашли, осмотрелись, поговорили, пошли дальше (лирическое отступление), следующая комната и так далее.

Между тем идейно Гоголь придумал все очень хорошо. В первом томе – «мертвые души», среди которых фермент брожения, да, жулик, да, прохиндей, но... делец, деятель Чичиков. Во втором томе появляются те, кого воскресить можно, и Чичиков постепенно преобразуется, чтобы третий том стал апофеозом: мертвые души становятся живыми! Чичиков из прохиндея и жулика делается рачительным хозяином, эффективным менеджером. Как это сделать, Гоголь не знал.

Между тем один раз сам текст подсказал, как это могло быть сделано. Ни Брет Гарт, ни Майн Рид, а уж тем более О'Генри мимо этой подсказки не проскочил бы. А Гоголь проскочил, не заметил, хотя сам написал. Собакевич в число мертвых мужских душ, которые Чичиков может заложить и получить за них деньги, вписывает Елисавет Воробей, с твердым знаком в конце имени, чтобы он не сразу понял, что это – женщина, и денег он за нее не получит, а Собакевичу – прибыль. Мы так и не узнаем, кто она, живая, мертвая? Почему помещик захотел (если она живая) избавиться от нее и сбавить Чичикову. Шалава? Оторва? Кликуша? Парализованная старуха? Неизвестно. А может, просто – померла... Но это был ход... Помещики под видом «мертвых душ» начинают сбывать Чичикову сор общины: хулиганье, сумасшедших, очень старых, неумелых, ленивцев, пьяниц, неизлечимо больных. В одно прекрасное утро Чичиков видит у своей гостиницы команду ух... «Здравствуй, батюшка-барин! Ты наш новый хозяин...» И вот из этого-то сора, выметенного помещиками из своих вотчин, Павел Иванович Чичиков и создает образцово-показательное хозяйство развитого феодализма. Повторюсь, ни один американец мимо этого сюжетного поворота не прошел бы, а Гоголь проскочил...

Повторю еще раз: Россия не Америка. С сюжетом русские писатели стали работать в начале XX века, незадолго до того, как Лев Лунц в манифесте «Серрапионовых братьев» выкрикнул: «На Запад! К Стивенсону и Дюма!» Один из первых опытов такой работы – «Стереоскоп» Александра Иванова. Опыт в той же мере удачный, в какой и неудачный. Потому

и весьма плодотворный. Плодотворность этого опыта была замечена острыми наблюдателями современного им искусства, Максимилианом Волошиным и Александром Блоком.

Максимилиан Волошин написал восторженную рецензию, в которой рассуждал о том, как точно понял Александр Иванов мистическую суть фотоискусства: фиксируется, останавливается миг времени, остается труп времени, остановленное движение; и до чего же верно Александр Иванов заметил, что наиболее адекватное воплощение Петербурга – черно-белая или тонированная фотография. Четкость линий вместе с туманностью изображения. Такой... оксюморон.

Александр Блок в свою очередь оставил в дневнике не менее восторженную запись, мол, наконец-то в России появилось то, что Валерий Брюсов называет «научной прозой» и что Александр Иванов пишет поистине пушкинскую прозу. У Блока были своеобразные представления о научности. Но если считать, что рассказ Иванова – одна из первых в русской литературе попыток «сайенс фикшн» с плавным переходом в мистику, то, пожалуй... нельзя не согласиться с первым блоковским замечанием. Насчет пушкинской прозы – тут уж Блоку виднее и слышнее. Значит, пушкинская.

Заметим: плодотворность рассказа Александра Иванова в его... неудаче. У Александра Иванова было великолепное воображение, великий дар выдумки, завязки сюжетного повествования. Вот герой его рассказа через объектив волшебного стереоскопа попадает в замерший мир прошлого, в зал Эрмитажа, в котором он был десятилетия тому назад еще ребенком. Вот он бродит среди застывших людей прошлого, в остановленном их движении. Вот его посещает мысль: а может, это все мне снится? Как проверить? (Здесь научность, пожалуй что налицо... Эксперимент – проверка мысли.)

Он разбивает стекло витрины и забирает древнеегипетского каменного скарабея. (Заметим, что, разрабатывая тот же сюжет путешествия в прошлое, Рэй Бредбери придумывает другой поворот, коль скоро человек из будущего (которое для него настоящее) в этом прошлом что-то порушил (бабочку раздавил), будущее будет другим, он вернется в иное, уже не свое настоящее. В случае с героем рассказа Иванова, он оказывается сразу в октябре 1917 года: «Бежит матрос, бежит солдат, стреляет на ходу, рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой»... Господа, куда я попал? А не надо было эксперименты ставить, скарабея из эрмитажной витрины в застывшем прошлом воровать...)

Заметим, что этот (брэдбериевский) вариант развития сюжета с посещением магического музея разработал писатель, весьма тщательно читавший фантастическую литературу и литературу того, что было названо Серебряным веком, Владимир Набоков. В его рассказе «Посещение музея» эмигрант входит в музей южнофранцузского города, а выходит в заснеженную Советскую Россию. Нуль-транспортировка – так в нынешней фантастике это называется.

Александр Иванов, впрочем, тоже неплохо придумал. Одна из застывших фигур в зале Эрмитажа оживает. Какая-то странная малопривычная старуха. Она преследует экспериментатора. Хочет не пустить его к фотоаппарату, благодаря которому получился волшебный снимок. Не пустить к камере нуль-транспортировки. Экспериментатор все же обгоняет старуху и оказывается сначала у фотоаппарата, а потом в своей комнате.

Ложится спать. Утром решает проверить результаты эксперимента. Может, все-таки сон? Кошмар? Нет. Скарабей на месте. В кармане. Значит, не сон. Завязка выше всяких похвал. Остается только накручивать еженощные приключения и путешествия героя в застывший Петербург прошлого и его попытки спасти себя от зловещей ожившей старухи и вырваться обратно в мир живых. Но как развязать завязку, что с ней делать, Александр Иванов не знает. В очередной раз герой спасает себя от ожившей старухи, в очередной раз он в своей комнате, но ему не по себе. Он заглядывает в стереоскоп и видит... старуху. (Может, из-за этой сцены Блок вспомнил Пушкина: «„Старуха!“ – вскричал Герман».)

Герой хватает молоток и разбивает стереоскоп. Вот и всё. Но это же не герой хватает молоток и по волшебному стереоскопу со всей силы – шарах! Это автор расколачивает свою великолепную завязку – молотком и в мелкие дребезги. Тут-то и быть сюжетному повороту, который увидел... Даниил Хармс. Хвативший молотком по стереоскопу экспериментатор просто-напросто освободил мертвую старуху, которая была в этом стереоскопе заключена, заперта. Теперь от нее не избавиться. Она будет повсюду, мертвое не убить. Куда бы ни прятал мертвую старуху бедняга, она будет аккуратно к нему возвращаться. Таким вот эхом отозвался рассказ Александра Иванова «Стереоскоп» в тексте хармсовской «Старухи». Так срифмовался.

* * *

Забудьте то, что вы только что прочитали. Это был *мой* путь к собранным новеллам, к тому, каким эхом они отзываются, каждая в каждой. Пусть *ваши* путь будет другим, вашим собственным. Несрифмованными остались «Епифанские шлюзы» Андрея Платонова и «В овраге» Чехова, миниатюра Бунина и миниатюра Зощенко. Без пары до сих пор по достоинству не оцененный «Коллекционный экземпляр» Бродского. Вы уж сами постарайтесь услышать эхо, обнаружить связь. В конце концов, это ведь тоже будет игра в жанре остросюжетной новеллы, квест. Найдите рифму, услышите эхо.

Кроме того, в культурной памяти нашего времени классические романы живут благодаря экранизациям, создавая некие зрительные представления о прошлой русской жизни. Новеллы экранизировать как-то не принято. И зря. Сборник русских рассказов может добавить новые образы, расширить палитру, а то так и останемся с Раскольниковым, Григорием Мелеховым и Анной Карениной.

Николай Лесков

Человек на часах

Глава первая

Событие, рассказ о котором ниже сего предлагается вниманию читателей, трогательно и ужасно по своему значению для главного героического лица пьесы, а развязка дела так оригинальна, что подобное ей даже едва ли возможно где-нибудь, кроме России.

Это составляет отчасти придворный, отчасти исторический анекдот, недурно характеризующий нравы и направление очень любопытной, но крайне бедно отмеченной эпохи тридцатых годов совершающегося девятнадцатого столетия.

Вымысла в наступающем рассказе нет нисколько.

Глава вторая

Зимою, около Крещения, в 1839 году в Петербурге была сильная оттепель. Так размокрогодило, что совсем как будто весне быть: снег таял, с крыш падали днем капли, а лед на реках посинел и взялся водой. На Неве перед самым Зимним дворцом стояли глубокие полыньи. Ветер дул теплый, западный, но очень сильный: со взморья нагоняло воду, и стреляли пушки.

Караул во дворце занимала рота Измайловского полка, которою командовал блестяще образованный и очень хорошо поставленный в обществе молодой офицер, Николай Иванович Миллер (впоследствии полный генерал и директор лицея). Это был человек с так называемым «гуманным» направлением, которое за ним было давно замечено и немножко вредило ему по службе во внимании высшего начальства.

На самом же деле Миллер был офицер исправный и надежный, а дворцовый караул в тогдашнее время и не представлял ничего опасного. Пора была самая тихая и безмятежная. От дворцового караула не требовалось ничего, кроме точного стояния на постах, а между тем как раз тут, на караульной очереди капитана Миллера при дворце, произошел весьма чрезвычайный и тревожный случай, о котором теперь едва вспоминают немногие из доживающих свой век тогдашних современников.

Глава третья

Сначала в карауле все шло хорошо: посты распределены, люди расставлены, и все обстояло в совершенном порядке. Государь Николай Павлович был здоров, ездил вечером кататься, возвратился домой и лег в постель. Уснул и дворец. Наступила самая спокойная ночь. В кордегардии тишина. Капитан Миллер приколот булавками свой белый носовой платок к высокой и всегда традиционно засаленной сафьянной спинке офицерского кресла и сел коротать время за книгой.

Н. И. Миллер всегда был страстный читатель, и потому он не скучал, а читал и не замечал, как уплывала ночь; но вдруг, в исходе второго часа ночи, его встревожило ужасное беспокойство: пред ним является разводный унтер-офицер и, весь бледный, объятый страхом, лепечет скороговоркой:

– Беда, ваше благородие, беда!

– Что такое?! Страшное несчастье постигло!

Н. И. Миллер вскочил в неописанной тревоге и едва мог толком дознаться, в чем именно заключались «беда» и «страшное несчастье».

Глава четвертая

Дело заключалось в следующем: часовой, солдат Измайловского полка, по фамилии Постников, стоя на часах снаружи у нынешнего Иорданского подъезда, услышал, что в полынье, которую против этого места покрылась Нева, заливается человек и отчаянно молит о помощи.

Солдат Постников, из дворовых господских людей, был человек очень нервный и очень чувствительный. Он долго слушал отдаленные крики и стоны утопающего и приходил от них в оцепенение. В ужасе он оглядывался туда и сюда на все видимое ему пространство набережной и ни здесь, ни на Неве, как назло, не усматривал ни одной живой души.

Подать помощь утопающему никто не может, и он непременно зальется...

А между тем тонущий ужасно долго и упорно борется.

Уж одно бы ему, кажется, – не трата сил, спускаться на дно, так ведь нет! Его изнеможенные стоны и призывные крики то оборвутся и замолкнут, то опять начинают раздаваться, и притом все ближе и ближе к дворцовой набережной. Видно, что человек еще не потерялся и держит путь верно, прямо на свет фонарей, но только он, разумеется, все-таки не спасется, потому что именно, тут на этом пути, он попадет в иорданскую прорубь. Там ему нырок под лед и конец... Вот и опять стих, а через минуту снова полощется и стонет: «Спасите, спасите!» И теперь уже так близко, что даже слышны всплески воды, как он полощется...

Солдат Постников стал соображать, что спасти этого человека чрезвычайно легко. Если теперь сбежать на лед, то тонущий непременно тут же и есть. Бросить ему веревку, или протянуть шестик, или подать ружье, и он спасен. Он так близко, что может схватиться рукою и выскочить. Но Постников помнит и службу и присягу; он знает, что он часовой, а часовой ни за что и ни под каким предлогом не смеет покинуть своей будки.

С другой же стороны, сердце у Постникова очень непокорное: так и ноет, так и стучит, так и замирает... Хоть вырви его да сам себе под ноги брось, – так беспокойно с ним делается от этих стонов и воплей... Страшно ведь слышать, как другой человек погибает, и не подать этому погибающему помощи, когда, собственно говоря, к тому есть полная возможность, потому что будка с места не убежит и ничто иное вредное не случится. «Иль сбежать, а?... Не увидят?... Ах, господи, один бы конец! Опять стонет...»

За один получас, пока это длилось, солдат Постников совсем истерзался сердцем и стал ощущать «сомнения рассудка». А солдат он был умный и исправный, с рассудком ясным, и отлично понимал, что оставить свой пост есть такая вина со стороны часового, за которую сейчас же последует военный суд, а потом гонка сквозь строй шпицрутенами и каторжная работа, а может быть, даже и «расстрел»; но со стороны вздувшейся реки опять наплывают все ближе и ближе стоны, и уже слышно бурканье и отчаянное барахтанье.

– Т-о-о-ну!.. Спасите, тону!

Тут вот сейчас и есть иорданская прорубь... Конец!

Постников еще раз-два оглянулся во все стороны. Нигде ни души нет, только фонари трясутся от ветра и мерцают, да по ветру, прерываясь, долетает этот крик... может быть, последний крик...

Вот еще всплеск, еще однозвучный вопль, и в воде забулькотало.

Часовой не выдержал и покинул свой пост.

Глава пятая

Постников бросился к сходням, сбежал с сильно бьющим-ся сердцем на лед, потом в наплывшую воду полыньи и, скоро рассмотрев, где бьется заливающийся утопленник, протянул ему ложу своего ружья.

Утопавший схватился за приклад, а Постников потянул его за штык и вытащил на берег.

Спасенный и спаситель были совершенно мокры, и как из них спасенный был в сильной усталости и дрожал и падал, то спаситель его, солдат Постников, не решился его бросить на льду, а вывел его на набережную и стал осматриваться, кому бы его передать. А меж тем, пока все это делалось, на набережной показались сани, в которых сидел офицер существовавшей тогда придворной инвалидной команды (впоследствии упраздненной).

Этот столь не вовремя для Постникова подоспевший господин был, надо полагать, человек очень легкомысленного характера, и притом немножко бестолковый, и изрядный наглец. Он соскочил с саней и начал спрашивать:

– Что за человек... что за люди?

– Тонул, заливался, – начал было Постников.

– Как тонул? Кто, ты тонул? Зачем в таком месте?

А тот только отпырхивается, а Постникова уже нет: он взял ружье на плечо и опять стал в будку.

Смекнул или нет офицер, в чем дело, но он больше не стал исследовать, а тотчас же подхватил к себе в сани спасенного человека и покатил с ним на Морскую в съезжий дом Адмиралтейской части.

Тут офицер сделал приставу заявление, что привезенный им мокрый человек тонул в полынье против дворца и спасен им, господином офицером, с опасностью для его собственной жизни.

Тот, которого спасли, был и теперь весь мокрый, иззябший и изнемогший. От испуга и от страшных усилий он впал в беспамятство, и для него было безразлично, кто спасал его.

Около него хлопотал заспанный полицейский фельдшер, а в канцелярии писали протокол по словесному заявлению инвалидного офицера и, с свойственной полицейским людям подозрительностью, недоумевали, как он сам весь сух из воды вышел? А офицер, который имел желание получить себе установленную медаль «за спасение погибавших», объяснял это счастливым стечением обстоятельств, но объяснял нескладно и невероятно. Пошли будить пристава, послали наводить справки.

А между тем во дворце по этому делу образовались уже другие, быстрые течения.

Глава шестая

В дворцовой караульне все сейчас упомянутые обороты после принятия офицером спасенного утопленника в свои сани были неизвестны. Там измайловский офицер и солдаты знали только то, что их солдат, Постников, оставив будку, кинулся спасать человека, и как это есть большое нарушение воинских обязанностей, то рядовой Постников теперь непременно пойдет под суд и под палки, а всем начальствующим лицам, начиная от ротного до командира полка, достанутся страшные неприятности, против которых ничего нельзя ни возражать, ни оправдываться.

Мокрый и дрожавший солдат Постников, разумеется, сейчас же был сменен с поста и, будучи приведен в кордегарию, чистосердечно рассказал Н. И. Миллеру все, что нам известно, и со всеми подробностями, доходившими до того, как инвалидный офицер посадил к себе спасенного утопленника и велел своему кучеру скакать в Адмиралтейскую часть.

Опасность становилась все больше и неизбежнее. Разумеется, инвалидный офицер все расскажет приставу, а пристав тотчас же доведет об этом до сведения обер-полицеймейстера Кокошкина, а тот доложит утром государю, и пойдет «горячка».

Долго рассуждать было некогда, надо было призывать к делу старших.

Николай Иванович Миллер тотчас же послал тревожную записку своему батальонному командиру подполковнику Свиньину, в которой просил его как можно скорее приехать в дворцовую караульню и всеми мерами пособить совершившейся страшной беде.

Это было уже около трех часов, а Кокошкин являлся с докладом к государю довольно рано утром, так что на все думы и на все действия оставалось очень мало времени.

Глава седьмая

Подполковник Свињин не имел той жалостливости и того мягкосердечия, которые всегда отличали Николая Ивановича Миллера: Свињин был человек не бессердечный, но прежде всего и больше всего «службист» (тип, о котором нынче опять вспоминают с сожалением). Свињин отличался строгостью и даже любил щеголять требовательностью дисциплины. Он не имел вкуса ко злу и никому не искал причинить напрасное страдание; но если человек нарушал какую бы то ни было обязанность службы, то Свињин был неумолим. Он считал неуместным входить в обсуждение побуждений, какие руководили в данном случае движением виновного, а держался того правила, что на службе всякая вина виновата. А потому в караульной роте все знали, что придется претерпеть рядовому Постникову за оставление своего поста, то он и оттерпит, и Свињин об этом скорбеть не станет.

Таким этот штаб-офицер был известен начальству и товарищам, между которыми были люди, не симпатизировавшие Свињину, потому что тогда еще не совсем вывелся «гуманизм» и другие ему подобные заблуждения. Свињин был равнодушен к тому, порицают или хвалят его «гуманисты». Просить и умолять Свињина или даже пытаться его разжалобить – было дело совершенно бесполезное. От всего этого он был закален крепким закалом карьерных людей того времени, но и у него, как у Ахиллеса, было слабое место.

Свињин тоже имел хорошо начатую служебную карьеру, которую он, конечно, тщательно оберегал и дорожил тем, чтобы на нее, как на парадный мундир, ни одна пылинка не села; а между тем несчастная выходка человека из вверенного ему батальона непременно должна была бросить дурную тень на дисциплину всей его части. Виноват или не виноват батальонный командир в том, что один из его солдат сделал под влиянием увлечения благороднейшим состраданием, – этого не станут разбирать те, от кого зависит хорошо начатая и тщательно поддерживаемая служебная карьера Свињина, а многие даже охотно подкатят ему бревно под ноги, чтобы дать путь своему ближнему или подвинуть молодца, протезируемого людьми в случае. Государь, конечно, рассердится и непременно скажет полковому командиру, что у него «слабые офицеры», что у них «люди распушенные». А кто это наделал? – Свињин. Вот так это и пойдет повторяться, что «Свињин слаб», и так, может, покор слабостью и останется несмываемым пятном на его, Свињина, репутации. Не быть ему тогда ничем достопримечательным в ряду современников и не оставить своего портрета в галерее исторических лиц государства Российского.

Изучением истории тогда хотя мало занимались, но, однако, в нее верили, и особенно охотно сами стремились участвовать в ее сочинении.

Глава восьмая

Как только Свињин получил около трех часов ночи тревожную записку от капитана Миллера, он тотчас же вскочил с постели, оделся по форме и, под влиянием страха и гнева, прибыл в караульную Зимнего дворца. Здесь он немедленно же произвел допрос рядовому Постникову и убедился, что невероятный случай совершился. Рядовой Постников опять вполне чистосердечно подтвердил своему батальонному командиру все то же самое, что произошло на его часах и что он, Постников, уже раньше показал своему ротному капитану Миллеру. Солдат говорил, что он «Богу и государю виноват без милосердия», что он стоял на часах и, слышав стоны человека, тонувшего в полынье, долго мучился, долго был в борьбе между служебным долгом и состраданием, и, наконец, на него напало искушение, и он не выдержал этой борьбы: покинул будку, соскочил на лед и вытащил тонувшего на берег, а здесь, как на грех, попался проезжавшему офицеру дворцовой инвалидной команды.

Подполковник Свињин был в отчаянии; он дал себе единственное возможное удовлетворение, сорвав свой гнев на Постникове, которого тотчас же прямо отсюда послал под арест в казарменный карцер, а потом сказал несколько колкостей Миллеру, попрекнув его «гуманерией», которая ни на что не пригодна в военной службе; но все это было недостаточно для того, чтобы поправить дело. Подыскать если не оправдание, то хотя извинение такому поступку, как оставление часовым своего поста, было невозможно, и оставался один исход – скрыть все дело от государя...

Но есть ли возможность скрыть такое происшествие?

По-видимому, это представлялось невозможным, так как о спасении погибавшего знали не только все караульные, но знал и тот ненавистный инвалидный офицер, который до сих пор, конечно, успел довести обо всем этом до ведома генерала Кокошкина.

Куда теперь скакать? К кому бросаться? У кого искать помощи и защиты?

Свињин хотел скакать к великому князю Михаилу Павловичу и рассказать ему все чистосердечно, какие маневры тогда были в ходу. Пусть великий князь, по своему пылкому характеру, рассердится и накричит, но его нрав и обычай были таковы, что чем он сильнее окажет на первый раз резкости и даже тяжело обидит, тем он потом скорее смирится и сам же заступится. Подобных случаев бывало немало, и их иногда нарочно искали. «Брань на ворота не висла», и Свињин очень хотел бы свести дело к этому благоприятному положению, но разве можно ночью доступить во дворец и тревожить великого князя? А дожидаться утра и явиться к Михаилу Павловичу после того, когда Кокошкин побывает с докладом у государя, будет уже поздно. И пока Свињин волновался среди таких затруднений, он обмяк, и ум его начал прозревать еще один выход, до сей поры скрывавшийся в тумане.

Глава девятая

В ряду известных военных приемов есть один такой, чтобы в минуту наивысшей опасности, угрожающей со стен осаждаемой крепости, не удаляться от нее, а прямо идти под ее стенами. Свиныин решился не делать ничего того, что ему приходило в голову сначала, а немедленно ехать прямо к Кокошкину.

Об обер-полицеймейстере Кокошкине в Петербурге говорили тогда много ужасающего и нелепого, но, между прочим, утверждали, что он обладает удивительным многосторонним тактом и при содействии этого такта не только «умеет сделать из мухи слона, но так же легко умеет сделать из слона муху».

Кокошкин в самом деле был очень суров и очень грозен и внушал всем большой страх к себе, но он иногда мирволил шалунам и добрым весельчакам из военных, а таких шулунов тогда было много, и им не раз случалось находить себе в его лице могущественного и усердного защитника. Вообще он много мог и много умел сделать, если только захочет. Таким его знали и Свиныин и капитан Миллер. Миллер тоже укрепил своего батальонного командира отважиться на то, чтобы ехать немедленно к Кокошкину и довериться его великодушию и его «многостороннему такту», который, вероятно, продиктует генералу, как вывернуться из этого досадного случая, чтобы не ввести в гнев государя, чего Кокошкин, к чести его, всегда избегал с большим старанием.

Свиныин надел шинель, устремил глаза вверх и, воскликнув несколько раз: «Господи, господи!» – поехал к Кокошкину.

Это был уже в начале пятый час утра.

Глава десятая

Обер-полицеймейстера Кокошкина разбудили и доложили ему о Свиныне, приехавшем по важному и не терпящему отлагательств делу.

Генерал немедленно встал и вышел к Свиныну в архалучке, потирая лоб, зевая и ежась. Все, что рассказывал Свинын, Кокошкин выслушивал с большим вниманием, но спокойно. Он во все время этих объяснений и просьб о снисхождении произнес только одно:

- Солдат бросил будку и спас человека?
- Точно так, – отвечал Свинын.
- А будка?
- Оставалась в это время пустою.
- Гм... Я это знал, что она оставалась пустою. Очень рад, что ее не украли.

Свинын из этого еще более уверился, что ему уже все известно и что он, конечно, уже решил себе, в каком виде он представит об этом при утреннем докладе государю, и решения этого изменять не станет. Иначе такое событие, как оставление часовым своего поста в дворцовом карауле, без сомнения должно было бы гораздо сильнее встревожить энергического обер-полицеймейстера.

Но Кокошкин не знал ничего. Пристав, к которому явился инвалидный офицер со спасенным утопленником, не видал в этом деле никакой особенной важности. В его глазах это вовсе даже не было таким делом, чтобы ночью тревожить усталого обер-полицеймейстера, да и притом самое событие представлялось приставу довольно подозрительным, потому что инвалидный офицер был совсем сух, чего никак не могло быть, если он спасал утопленника с опасностью для собственной жизни. Пристав видел в этом офицере только честолюбца и лгуна, желающего иметь одну новую медаль на грудь, и потому, пока его дежурный писал протокол, пристав придерживал у себя офицера и старался выпытать у него истину через расспрос мелких подробностей.

Приставу тоже не было приятно, что такое происшествие случилось в его части и что утопавшего вытащил не полицейский, а дворцовый офицер.

Спокойствие же Кокошкина объяснялось просто, во— первых, страшною усталостью, которую он в это время испытывал после целодневной суеты и ночного участия при тушении двух пожаров, а во-вторых, тем, что дело, сделанное часовым Постниковым, его, г-на обер-полицеймейстера, прямо не касалось.

Впрочем, Кокошкин тотчас же сделал соответственное распоряжение.

Он послал за приставом Адмиралтейской части и приказал ему немедленно явиться вместе с инвалидным офицером и со спасенным утопленником, а Свинына просил подождать в маленькой приемной перед кабинетом. Затем Кокошкин удалился в кабинет и, не затворяя за собою дверей, сел за стол и начал было подписывать бумаги; но сейчас же склонил голову на руки и заснул за столом в кресле.

Глава одиннадцатая

Тогда еще не было ни городских телеграфов, ни телефонов, а для спешной передачи приказаний начальства скакали по всем направлениям «сорок тысяч курьеров», о которых сохранился долговечное воспоминание в комедии Гоголя.

Это, разумеется, не было так скоро, как телеграф или телефон, но зато сообщало городу значительное оживление и свидетельствовало о неусыпном бдении начальства.

Пока из Адмиралтейской части явились запыхавшийся пристав и офицер-спаситель, а также и спасенный утопленник, нервный и энергический генерал Кокошкин вздремнул и освежился. Это было заметно в выражении его лица и в проявлении его душевных способностей.

Кокошкин потребовал всех явившихся в кабинет и вместе с ними пригласил и Свиньина.

– Протокол? – односложно спросил освеженным голосом у пристава Кокошкин.

Тот молча подал ему сложенный лист бумаги и тихо прошептал:

– Должен просить дозволить мне доложить вашему превосходительству несколько слов по секрету...

– Хорошо.

Кокошкин отошел в амбразуру окна, а за ним пристав.

– Что такое?

Послышался неясный шепот пристава и ясные покрякивания генерала...

– Гм... Да!.. Ну что ж такое?.. Это могло быть... Они на том стоят, чтобы сухими высказывать... Ничего больше?

– Ничего-с.

Генерал вышел из амбразуры, присел к столу и начал читать. Он читал протокол про себя, не обнаруживая ни страха, ни сомнений, и затем непосредственно обратился с громким и твердым вопросом к спасенному:

– Как ты, братец, попал в полыню против дворца?

– Виноват, – отвечал спасенный.

– То-то! Был пьян?

– Виноват, пьян не был, а был выпимши.

– Зачем в воду попал?

– Хотел перейти поближе через лед, сбился и попал в воду.

– Значит, в глазах было темно?

– Темно, кругом темно было, ваше превосходительство!

– И ты не мог рассмотреть, кто тебя вытащил?

– Виноват, ничего не рассмотрел. Вот они, кажется. Он указал на офицера и добавил: – Я не мог рассмотреть, был испужамшись.

– То-то и есть, шляется, когда надо спать! Всмотрись же теперь и помни навсегда, кто твой благодетель. Благородный человек жертвовал за тебя своею жизнью!

– Век буду помнить.

– Имя ваше, господин офицер? Офицер назвал себя по имени.

– Слышишь?

– Слушаю, ваше превосходительство.

– Ты православный?

– Православный, ваше превосходительство.

– В помяну за здравие это имя запиши.

– Запишу, ваше превосходительство.

– Молись Богу за него и ступай вон: ты больше не нужен.

Тот поклонился в ноги и выкатился, без меры довольный тем, что его отпустили.

Свиньин стоял и недоумевал, как это такой оборот все принимает милостию Божиею!

Глава двенадцатая

Кокошкин обратился к инвалидному офицеру:

– Вы спасли этого человека, рискуя собственной жизнью?

– Точно так, ваше превосходительство.

– Свидетелей этого происшествия не было, да по позднему времени и не могло быть?

– Да, ваше превосходительство, было темно, и на набережной никого не было, кроме часовых.

– О часовых незачем поминать: часовой охраняет свой пост и не должен отвлекаться ничем посторонним. Я верю тому, что написано в протоколе. Ведь это с ваших слов?

Слова эти Кокошкин произнес с особенным ударением, точно как будто пригрозил или прикрикнул.

Но офицер не сробел, а, вылупив глаза и выпучив грудь, ответил:

– С моих слов и совершенно верно, ваше превосходительство.

– Ваш поступок достоин награды.

Тот начал благодарно кланяться.

– Не за что благодарить, – продолжал Кокошкин. – Я доложу о вашем самоотверженном поступке государю императору, и грудь ваша, может быть, сегодня же будет украшена медалью. А теперь можете идти домой, напейтесь теплого и никуда не выходите, потому что, может быть, вы понадобятся.

Инвалидный офицер совсем засиял, откланялся и вышел.

Кокошкин поглядел ему вслед и проговорил:

– Возможная вещь, что государь пожелает сам его видеть.

– Слушаю-с, – отвечал понятиливо пристав.

– Вы мне больше не нужны.

Пристав вышел и, затворив за собою дверь, тотчас, по набожной привычке, перекрестился.

Инвалидный офицер ожидал пристава внизу, и они отправились вместе в гораздо более теплых отношениях, чем когда сюда вступали.

В кабинете у обер-полицеймейстера остался один Свинын, на которого Кокошкин сначала посмотрел долгим, пристальным взглядом и потом спросил:

– Вы не были у великого князя?

В то время, когда упоминали о великом князе, то все знали, что это относится к великому князю Михаилу Павловичу.

– Я прямо явился к вам, – отвечал Свинын.

– Кто караульный офицер?

– Капитан Миллер.

Кокошкин опять окинул Свинына взглядом и потом сказал:

– Вы мне, кажется, что-то прежде иначе говорили. Свинын даже не понял, к чему это относится, и промолчал, а Кокошкин добавил:

– Ну все равно: спокойно почивайте. Аудиенция кончилась.

Глава тринадцатая

В час пополудни инвалидный офицер действительно был потребован к Кокошкину, который очень ласково объявил ему, что государь весьма доволен, что среди офицеров инвалидной команды его дворца есть такие бдительные и самоотверженные люди, и жалует ему медаль «за спасение погибавших». При сем Кокошкин собственноручно вручил герою медаль, и тот пошел щеголять ею. Дело, стало быть, можно было считать совсем сделанным, но подполковник Свиньин чувствовал в нем какую-то незаконченность и почитал себя призванным поставить *point sur le i*¹

Он был так встревожен, что три дня проболел, а на четвертый встал, съездил в Петровский домик, отслужил благодарственный молебен перед иконою Спасителя и, возвратясь домой с успокоенною душой, послал попросить к себе капитана Миллера.

– Ну, слава богу, Николай Иванович, – сказал он Миллеру, – теперь гроза, над нами тяготевшая, совсем прошла, и наше несчастное дело с часовым совершенно уладилось. Теперь, кажется, мы можем вздохнуть спокойно. Всем этим мы, без сомнения, обязаны сначала милосердию Божию, а потом генералу Кокошкину. Пусть о нем говорят, что он и недобрый и бессердечный, но я исполнен благодарности к его великодушию и почтения к его находчивости и такту. Он удивительно мастерски воспользовался хвастовством этого инвалидного пройдохи, которого, по правде, стоило бы за его наглость не медалью награждать, а на обе корки выдрать на конюшне, но ничего иного не оставалось: им нужно было воспользоваться для спасения многих, и Кокошкин повернул все дело так умно, что никому не вышло ни малейшей неприятности, – напротив, все очень рады и довольны. Между нами сказать, мне передано через достоверное лицо, что и сам Кокошкин мною очень доволен. Ему было приятно, что я не поехал никуда, а прямо явился к нему и не спорил с этим проходимцем, который получил медаль. Словом, никто не пострадал, и все сделано с таким тактом, что и вперед опасаться нечего, но маленький недочет есть за нами. Мы тоже должны с тактом последовать примеру Кокошкина и закончить дело с своей стороны так, чтоб оградить себя на всякий случай впоследствии. Есть еще одно лицо, которого положение не оформлено. Я говорю про рядового Постникова. Он до сих пор в карцере под арестом, и его, без сомнения, томит ожидание, что с ним будет. Надо прекратить и его мучительное томление.

– Да, пора! – подсказал обрадованный Миллер.

– Ну конечно, и вам это всех лучше исполнить: отправьтесь, пожалуйста, сейчас же в казармы, соберите вашу роту, выведите рядового Постникова из-под ареста и накажите его перед строем двумя стами розог.

¹ Точку над *i* (франц.).

Глава четырнадцатая

Миллер изумился и сделал попытку склонить Свинына к тому, чтобы на общей радости совсем пощадить и простить рядового Постникова, который и без того уже много перестрадал, ожидая в карцере решения того, что ему будет; но Свинын вспыхнул и даже не дал Миллеру продолжать.

– Нет, – перебил он, – это оставьте: я вам только что говорил о такте, а вы сейчас же начинаете бестактность! Оставьте это!

Свинын переменял тон на более сухой и официальный и добавил с твердостью:

– А как в этом деле вы сами тоже не совсем правы и даже очень виноваты, потому что у вас есть не идущая военному человеку мягкость, и этот недостаток вашего характера отражается на субординации в ваших подчиненных, то я приказываю вам лично присутствовать при экзекуции и настоять, чтобы сечение было произведено серьезно... как можно строже. Для этого извольте распорядиться, чтобы розгами секли молодые солдаты из новоприбывших из армии, потому что наши старики все заражены на этот счет гвардейским либерализмом: они товарища не секут как должно, а только блох у него за спиною пугают. Я заеду сам и сам посмотрю, как виноватый будет сделан.

Уклонения от каких бы то ни было служебных приказаний начальствующего лица, конечно, не имели места, и мягкосердечный Н. И. Миллер должен был в точности исполнить приказ, полученный им от своего батальонного командира.

Рота была выстроена на дворе измайловских казарм, розги принесены из запаса вдовольном количестве, и выведенный из карцера рядовой Постников «был сделан» при усердном содействии новоприбывших из армии молодых товарищей. Эти неиспорченные гвардейским либерализмом люди в совершенстве выставили на нем все *point sur le i*, в полной мере определенные ему его батальонным командиром. Затем наказанный Постников был поднят и непосредственно отсюда на той же шинели, на которой его секли, перенесен в полковой лазарет.

Глава пятнадцатая

Батальонный командир Свинын, по получении донесения об исполнении экзекуции, тотчас же сам отечески навестил Постникова в лазарете и, к удовольствию своему, самым наглядным образом убедился, что приказание его исполнено в совершенстве. Сердобольный и нервный Постников был «сделан как следует». Свинын остался доволен и приказал дать от себя наказанному Постникову фунт сахару и четверть фунта чаю, чтоб он мог услаждаться, пока будет на поправке. Постников, лежа на койке, слышал это распоряжение о чае и отвечал:

– Много доволен, ваше высочордие, благодарю за отеческую милость.

И он в самом деле был «доволен», потому что, сидя три дня в карцере, он ожидал гораздо худшего. Двести розог, по тогдашнему сильному времени, очень мало значили в сравнении с теми наказаниями, какие люди переносили по приговорам военного суда; а такое именно наказание и досталось бы Постникову, если бы, к счастью его, не произошло всех тех смелых и тактических эволюций, о которых выше рассказано.

Но число всех довольных рассказанным происшествием этим не ограничилось.

Глава шестнадцатая

Под сурдинкою подвиг рядового Постникова расползся по разным кружкам столицы, которая в то время печатной безголосицы жила в атмосфере бесконечных сплетен. В устных передачах имя настоящего героя – солдата Постникова утратилось, но зато сама эпопея раздулась и приняла очень интересный, романтический характер.

Говорили, будто ко дворцу со стороны Петропавловской крепости плыл какой-то необыкновенный пловец, в которого один из стоявших у дворца часовых выстрелил и пловца ранил, а проходивший инвалидный офицер бросился в воду и спас его, за что и получили: один – должную награду, а другой – заслуженное наказание. Нелепый слух этот дошел и до подворья, где в ту пору жил осторожный и равнодушный к «светским событиям» владыко, благосклонно благоволивший к набожному московскому семейству Свиных.

Проницательному владыке казалось неясным сказание о выстреле. Что же это за ночной пловец? Если он был беглый узник, то за что же наказан часовой, который исполнил свой долг, выстрелив в него, когда тот плыл через Неву из крепости? Если же это не узник, а иной загадочный человек, которого надо было спасать из волн Невы, то почему о нем мог знать часовой? И тогда опять не может быть, чтоб это было так, как о том в мире суесловят. В мире многое берут крайне легкомысленно и «суесловят», но живущие в обителях и на подворьях ко всему относятся гораздо серьезнее и знают о светских делах самое настоящее.

Глава семнадцатая

Однажды, когда Свињин случился у владыки, чтобы принять от него благословение, высокочтимый хозяин заговорил с ним «кстати о выстреле». Свињин рассказал всю правду, в которой, как мы знаем, не было ничего похожего на то, о чем повествовали «кстати о выстреле».

Владыко выслушал настоящий рассказ в молчании, слегка шевеля своими беленькими четками и не сводя своих глаз с рассказчика. Когда же Свињин кончил, владыко тихо журчащею речью произнес:

– Почему надлежит заключить, что в сем деле не все и не везде излагалось согласно с полною истиной?

Свињин замялся и потом отвечал с уклоном, что докладывал не он, а генерал Кокошкин.

Владыко в молчании перепустил несколько раз четки сквозь свои восковые персты и потом молвил:

– Должно различать, что есть ложь и что неполная истина.

Опять четки, опять молчание и, наконец, тихоструйная речь:

– Неполная истина не есть ложь. Но о сем наименьше.

– Это действительно так, – заговорил поощренный Свињин. – Меня, конечно, больше всего смущает, что я должен был подвергнуть наказанию этого солдата, который хотя нарушил свой долг...

Четки и тихоструйный перебив:

– Долг службы никогда не должен быть нарушен.

– Да, но это им было сделано по великодушию, по состраданию, и притом с такой борьбой и с опасностью: он понимал, что, спасая жизнь другому человеку, он губит самого себя... Это высокое, святое чувство!

– Святое известно Богу, наказание же на теле простолюдину не бывает губительно и не противоречит ни обычаю народов, ни духу Писания. Лозу гораздо легче перенести на грубом теле, чем тонкое страдание в духе. В сем справедливость от вас нимало не пострадала.

– Но он лишен и награды за спасение погибавших.

– Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг. Кто мог спасти и не спас – подлежит каре законов, а кто спас, тот исполнил свой долг.

Пауза, четки и тихоструй:

– Воину претерпеть за свой подвиг унижение и раны может быть гораздо полезнее, чем превозноситься знаком. Но что во всем сем наибольшее – это то, чтобы хранить о всем деле сем осторожность и отнюдь нигде не упоминать о том, кому по какому-нибудь случаю о сем было сказывано.

Очевидно, и владыко был доволен.

Глава восемнадцатая

Если бы я имел дерзновение счастливых избранников Неба, которым, по великой их вере, дано проникать тайны Божия смотрения, то я, может быть, дерзнул бы позволить себе предположение, что, вероятно, и сам Бог был доволен поведением созданной им смиренной души Постникова. Но вера моя мала; она не дает уму моему силы зреть столь высокого: я держусь земного и перстного. Я думаю о тех смертных, которые любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него где бы то ни было. Эти прямые и надежные люди тоже, мне кажется, должны быть вполне довольны святым порывом любви и не менее святым терпением смиренного героя моего точного и безыскусственного рассказа.

1839

Всеволод Гаршин

Четыре дня

Я помню, как мы бежали по лесу, как жужжали пули, как падали отрываемые ими ветки, как мы продирались сквозь кусты боярышника. Выстрелы стали чаще. Сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее там и сям. Сидоров, молоденький солдатик первой роты («как он попал в нашу цепь?» – мелькнуло у меня в голове), вдруг присел к земле и молча оглянулся на меня большими испуганными глазами. Из рта у него текла струя крови. Да, я это хорошо помню. Я помню также, как уже почти на опушке, в густых кустах, я увидел... *его*. Он был огромный толстый турок, но я бежал прямо на него, хотя я слаб и худ. Что-то хлопнуло, что-то, как мне показалось, огромное пролетело мимо; в ушах зазвенело. «Это он в меня выстрелил», – подумал я. А он с воплем ужаса прижался спиной к густому кусту боярышника. Можно было обойти куст, но от страха он не помнил ничего и лез на колючие ветви. Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то зарычало, не то застонало. Потом я побежал дальше. Наши кричали «ура!», падали, стреляли. Помню, и я сделал несколько выстрелов, уже выйдя из лесу, на поляне. Вдруг «ура» раздалось громче, и мы сразу двинулись вперед. То есть не мы, а наши, потому что я остался. Мне это показалось странным. Еще страннее было то, что вдруг все исчезло; все крики и выстрелы смолкли. Я не слышал ничего, а видел только что-то синее; должно быть, это было небо. Потом и оно исчезло.

Я никогда не находился в таком странном положении. Я лежу, кажется, на животе и вижу перед собою только маленький кусочек земли. Несколько травинок, муравей, ползущий с одной из них вниз головою, какие-то кусочки сора от прошлогодней травы – вот весь мой мир. И вижу я его только одним глазом, потому что другой зажат чем-то твердым, должно быть веткою, на которую опирается моя голова. Мне ужасно неловко, и я хочу, но решительно не понимаю, почему не могу шевельнуться. Так проходит время. Я слышу треск кузнечиков, жужжание пчелы. Больше нет ничего. Наконец я делаю усилие, освобождаю правую руку из-под себя и, упираясь обеими руками о землю, хочу встать на колени.

Что-то острое и быстрое, как молния, пронизывает все мое тело от колен к груди и голове, и я снова падаю. Опять мрак, опять ничего нет.

Я проснулся. Почему я вижу звезды, которые так ярко светятся на черно-синем болгарском небе? Разве я не в палатке? Зачем я вылез из нее? Я делаю движение и ощущаю мучительную боль в ногах.

Да, я ранен в бою. Опасно или нет? Я хватаюсь за ноги там, где болит. И правая и левая нога покрылись заскорузлой кровью. Когда я трогаю их руками, боль еще сильнее. Боль, как зубная: постоянная, тянущая за душу. В ушах звон, голова отяжелела. Смутно понимаю я, что ранен в обе ноги. Что ж это такое? Отчего меня не подняли? Неужели турки разбили нас? Я начинаю припоминать бывшее со мной, сначала смутно, потом яснее, и прихожу к заключению, что мы вовсе не разбиты. Потому что я упал (этого, впрочем, я не помню, но помню, как все побежали вперед, а я не мог бежать, и у меня осталось только что-то синее перед глазами) – и упал на полянке, наверху холма. На эту полянку нам показывал наш маленький батальонный. «Ребята, мы будем там!» – закричал он нам своим звонким голосом. И мы были там: значит, мы не разбиты... Почему же меня не подобрали? Ведь здесь, на поляне, открытое место, все видно. Ведь, наверное, не я один лежу здесь. Они стреляли так часто. Нужно повернуть голову и посмотреть. Теперь это сделать удобнее, потому что еще тогда, когда я, очнувшись, видел травку и муравья, ползущего вниз головою, я, пытаясь подняться, упал не в прежнее положение, а повернулся на спину. Оттого-то мне и видны эти звезды.

Я приподнимаюсь и сажусь. Это делается трудно, когда обе ноги перебиты. Несколько раз приходится отчаиваться; наконец со слезами на глазах, выступившими от боли, я сажусь.

Надо мною – клочок черно-синего неба, на котором горит большая звезда и несколько маленьких, вокруг что-то темное, высокое. Это – кусты. Я в кустах: меня не нашли!

Я чувствую, как шевелятся корни волос на моей голове.

Однако как это я очутился в кустах, когда они выстрелили в меня на полянке? Должно быть, раненный, я переполз сюда, не помня себя от боли. Странно только, что теперь я не могу пошевелиться, а тогда сумел дотащиться до этих кустов. А быть может, у меня тогда была только одна рана и другая пуля доконала меня уже здесь.

Бледные розоватые пятна заходили вокруг меня. Большая звезда побледнела, несколько маленьких исчезли. Это всходит луна. Как хорошо теперь дома!..

Какие-то странные звуки доходят до меня... Как будто бы кто-то стонет. Да, это – стон. Лежит ли около меня какой-нибудь такой же забытый, с перебитыми ногами или с пулей в животе? Нет, стоны так близко, а около меня, кажется, никого нет... Боже мой, да ведь это – я сам! Тихие, жалобные стоны; неужели мне в самом деле так больно? Должно быть. Только я не понимаю этой боли, потому что у меня в голове туман, свинец. Лучше лечь и уснуть, спать, спать... Только проснусь ли я когда-нибудь? Это все равно.

В ту минуту, когда я собираюсь ложиться, широкая бледная полоса лунного света ясно озаряет место, где я лежу, и я вижу что-то темное и большое, лежащее шагах в пяти от меня. Кое-где на нем видны блики от лунного света. Это пуговицы или амуниция. Это – труп или раненый.

Все равно, я лягу...

Нет, не может быть! Наши не ушли. Они здесь, они выбили турок и остались на этой позиции. Отчего же нет ни говора, ни треска костров? Да ведь я от слабости ничего не слышу. Они, наверное, здесь.

– Помогите!.. Помогите!..

Дикие, безумные, хриплые вопли вырываются из моей груди, и нет на них ответа. Громко разносятся они в ночном воздухе. Все остальное молчит. Только сверчки трещат по-прежнему неутомомно. Луна жалобно смотрит на меня круглым лицом.

Если бы он был раненый, он очнулся бы от такого крика. Это труп. Наш или турок? Ах, боже мой! Будто не все равно. И сон опускается на мои воспаленные глаза.

Я лежу с закрытыми глазами, хотя уже давно проснулся. Мне не хочется открыть глаза, потому что я чувствую сквозь закрытые веки солнечный свет: если я открою глаза, то он будет резать их. Да и лучше не шевелиться... Вчера (кажется, это было вчера?) меня ранили; прошли сутки, пройдут другие, я умру. Все равно. Лучше не шевелиться. Пусть тело будет неподвижно. Как было бы хорошо остановить и работу мозга! Но ее ничем не удержишь. Мысли, воспоминания теснятся в голове. Впрочем, все это ненадолго, скоро конец. Только в газетах останется несколько строк, что, мол, потери наши незначительны: ранено столько-то; убит рядовой из вольноопределяющихся Иванов. Нет, и фамилии не напишут; просто скажут: убит один. Один рядовой, как та одна собачонка...

Целая картина ярко вспыхивает в моем воображении. Это было давно; впрочем, все, вся моя жизнь, та жизнь, когда я не лежал еще здесь с перебитыми ногами, была так давно... Я шел по улице, кучка народа остановила меня. Толпа стояла и молча глядела на что-то беленькое, окровавленное, жалобно визжавшее. Это была маленькая хорошенькая собачка; вагон конно-железной дороги переехал ее. Она умирала, вот как теперь я. Какой-то дворник растолкал толпу, взял собачку за шиворот и унес. Толпа разошлась.

Унесет ли меня кто-нибудь? Нет, лежи и умирай. А как хороша жизнь!.. В тот день (когда случилось несчастье с собачкой) я был счастлив. Я шел в каком-то опьянении, да и было отчего.

Вы, воспоминания, не мучьте меня, оставьте меня! Былое счастье, настоящие муки... пусть бы остались одни мучения, пусть не мучат меня воспоминания, которые невольно заставляют сравнивать. Ах, тоска, тоска! Ты хуже ран.

Однако становится жарко. Солнце жжет. Я открываю глаза, вижу те же кусты, то же небо, только при дневном освещении. А вот и мой сосед. Да, это – турок, труп. Какой огромный! Я узнаю его, это тот самый...

Передо мною лежит убитый мною человек. За что я его убил?

Он лежит здесь мертвый, окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, и у него, как у меня, есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у дверей своей убогой мазанки да поглядывать на далекий север: не идет ли ее ненаглядный сын, ее работник и кормилец?..

А я? И я также... Я бы даже поменялся с ним. Как он счастлив: он не слышит ничего, не чувствует ни боли от ран, ни смертельной тоски, ни жажды... Штык вошел ему прямо в сердце... Вот на мундире большая черная дыра; вокруг нее кровь. *Это сделал я.*

Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться. Мысль о том, что и мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду подставлять *свою* грудь под пули. И я пошел и подставил.

Ну и что же? Глупец, глупец! А этот несчастный феллах (на нем египетский мундир) – он виноват еще меньше. Прежде чем их посадили, как сельдей в бочку, на пароход и повезли в Константинополь, он и не слышал ни о России, ни о Болгарии. Ему велели идти, он и пошел. Если бы он не пошел, его стали бы бить палками, а то, быть может, какой-нибудь паша всадил бы в него пулю из револьвера. Он шел длинным, трудным походом от Стамбула до Рушука. Мы напали, он защищался. Но видя, что мы, страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки Пибоди и Мартини, все лезем и лезем вперед, он пришел в ужас. Когда он хотел уйти, какой-то маленький человечек, которого он мог бы убить одним ударом своего черного кулака, подскочил и воткнул ему штык в сердце.

Чем же он виноват?

И чем виноват я, хотя я и убил его? Чем я виноват? За что меня мучает жажда? Жажда! Кто знает, что значит это слово! Даже тогда, когда мы шли по Румынии, делая в ужасные сорокаградусные жары переходы по пятидесяти верст, тогда я не чувствовал того, что чувствую теперь. Ах, если бы кто-нибудь пришел!

Боже мой! Да у него в этой огромной фляге, наверно, есть вода! Но надо добраться до него. Что это будет стоить! Все равно, доберусь.

Я ползу. Ноги волочатся, ослабевшие руки едва двигают неподвижное тело. До трупа сажени две, но для меня это больше – не больше, а хуже – десятков верст. Все-таки нужно ползти. Горло горит, жжет, как огнем. Да и умрешь без воды скорее. Все-таки, может быть...

И я ползу. Ноги цепляются за землю, и каждое движение вызывает нестерпимую боль. Я кричу, кричу с воплями, а все-таки ползу. Наконец вот и он. Вот фляга... в ней есть вода – и как много! Кажется, больше полфляги. О! Воды мне хватит надолго... до самой смерти!

Ты спасаешь меня, моя жертва!.. Я начал отвязывать флягу, опершись на один локоть, и вдруг, потеряв равновесие, упал лицом на грудь своего спасителя. От него уже был слышен сильный трупный запах.

Я напился. Вода была тепла, но не испорчена, и притом ее было много. Я проживу еще несколько дней. Помнится, в «Физиологии обыденной жизни» сказано, что без пищи человек может прожить больше недели, лишь бы была вода. Да, там еще рассказана история самоубийцы, уморившего себя голодом. Он жил очень долго, потому что пил.

Ну и что же? Если я и проживу еще дней пять-шесть, что будет из этого? Наши ушли, болгары разбежались. Дороги близко нет. Все равно – умирать. Только вместо трехдневной

агонии я сделал себе недельную. Не лучше ли кончить? Около моего соседа лежит его ружье, отличное английское произведение. Стоит только протянуть руку; потом – один миг, и конец. Патроны валяются тут же, кучею. Он не успел выпустить всех.

Так кончать или ждать? Чего? Избавления? Смерти? Ждать, пока придут турки и начнут сдирать кожу с моих раненых ног? Лучше уж самому...

Нет, не нужно падать духом; буду бороться до конца, до последних сил. Ведь если меня найдут, я спасен. Быть может, кости не тронуты; меня вылечат. Я увижу родину, мать, Машу...

Господи, не дай им узнать всю правду! Пусть думают, что я убит наповал. Что будет с ними, когда они узнают, что я мучился два, три, четыре дня!

Голова кружится; мое путешествие к соседу меня совершенно измучило. А тут еще этот ужасный запах. Как он почернел... что будет с ним завтра или послезавтра? И теперь я лежу здесь только потому, что нет силы оттащиться. Отдохну и поползу на старое место; кстати, ветер дует оттуда и будет относить от меня зловоние.

Я лежу в совершенном изнеможении. Солнце жжет мне лицо и руки. Накрыться нечем. Хоть бы ночь поскорее; это, кажется, будет вторая.

Мысли путаются, и я забываюсь.

Я спал долго, потому что, когда проснулся, была уже ночь. Все по-прежнему: раны болят, сосед лежит, такой же огромный и неподвижный.

Я не могу не думать о нем. Неужели я бросил все милое, дорогое, шел сюда тысячеверстным походом, голодал, холодал, мучился от зноя; неужели, наконец, я лежу теперь в этих муках – только ради того, чтобы этот несчастный перестал жить? А ведь разве я сделал что-нибудь полезное для военных целей, кроме этого убийства?

Убийство, убийца... И кто же? Я!

Когда я затеял идти драться, мать и Маша не отговаривали меня, хотя и плакали надо мною. Ослепленный идеею, я не видел этих слез. Я не понимал (теперь я понял), что я делал с близкими мне существами.

Да вспоминать ли? Прошлого не воротишь.

А какое странное отношение к моему поступку явилось у многих знакомых! «Ну, юродивый! Лезет, сам не зная чего!» Как могли они говорить это? Как вяжутся такие слова с их представлениями о геройстве, любви к родине и прочих таких вещах? Ведь в их глазах я представлял все эти доблести. И тем не менее – я «юродивый».

И вот я еду в Кишинев; на меня навьючивают ранец и всякие военные принадлежности. И я иду вместе с тысячами, из которых разве несколько наберется, подобно мне, идущих охотно. Остальные остались бы дома, если бы им позволили. Однако они идут так же, как и мы, «сознательные», проходят тысячи верст и дерутся так же, как и мы, или даже лучше. Они исполняют свои обязанности, несмотря на то, что сейчас же бросили бы и ушли – только бы позволили.

Понесло резким утренним ветерком. Кусты зашевелились, вспорхнула полусонная птичка. Звезды померкли. Темно-синее небо посерело, подернулось нежными перистыми облачками; серый полумрак поднимался с земли. Наступал третий день моего... Как это назвать? Жизнь? Агония?

Третий... Сколько их еще осталось? Во всяком случае, немного... Я очень ослабел и, кажется, даже не смогу отодвинуться от трупа. Скоро мы поравняемся с ним и не будем неприятны друг другу.

Нужно напиться. Буду пить три раза в день: утром, в полдень и вечером.

Солнце взошло. Его огромный диск, весь пересеченный и разделенный черными ветвями кустов, красен, как кровь. Сегодня будет, кажется, жарко. Мой сосед – что станет с тобой? Ты и теперь ужасен.

Да, он был ужасен. Его волосы начали выпадать. Его кожа, черная от природы, побледнела и пожелтела; раздутое лицо натянуло ее до того, что она лопнула за ухом. Там копошились черви. Ноги, затянутые в штиблеты, раздулись, и между крючками штиблет вылезли огромные пузыри. И весь он раздулся горюю. Что сделает с ним солнце сегодня?

Лежать так близко к нему невыносимо. Я должен отползти во что бы то ни стало. Но смогу ли я? Я еще могу поднять руку, открыть фляжку, напиться; но – передвинуть свое тяжелое, неподвижное тело? Все-таки буду двигаться, хоть понемногу, хоть на полшага в час.

Все утро проходит у меня в этом передвижении. Боль сильная, но что мне она теперь? Я уже не помню, не могу представить себе ощущений здорового человека. Я даже будто привык к боли. В это утро я отполз-таки сажени на две и очутился на прежнем месте. Но я недолго пользовался свежим воздухом, если может быть свежий воздух в шести шагах от гниющего трупа. Ветер переменяется и снова наносит на меня зловоние до того сильное, что меня тошнит. Пустой желудок мучительно и судорожно сокращается; все внутренности переворачиваются. А зловонный, зараженный воздух так и плывет на меня.

Я прихожу в отчаяние и плачу...

Совсем разбитый, одурманенный, я лежал почти в беспамятстве. Вдруг... Не обман ли это расстроенного воображения? Мне кажется, что нет. Да, это – говор. Конский топот, людской говор. Я едва не закричал, но удержался. А что, если это турки? Что тогда? К этим мучениям прибавятся еще другие, более ужасные, от которых дыбом волос становится, даже когда о них читаешь в газетах. Сдерут кожу, поджарят раненые ноги... Хорошо, если еще только это; но ведь они изобретательны. Неужели лучше кончить жизнь в их руках, чем умереть здесь? А если это – наши? О проклятые кусты! Зачем вы обросли вокруг меня таким густым забором? Ничего я не вижу сквозь них; только в одном месте будто окошко между ветвями открывает мне вид вдаль, в лощину. Там, кажется, есть ручеек, из которого мы пили перед боем. Да, вон и огромная песчаниковая плита, положенная через ручеек как мостик. Они, наверно, поедут через нее. Говор умолкает. Я не могу расслышать языка, на котором они говорят: у меня и слух ослабел. Господи! Если это наши... Я закричу им; они услышат меня и от ручейка. Это лучше, чем рисковать попасть в лапы башибузукам. Что ж они так долго не едут? Нетерпение томит меня; я не замечаю даже и запаха трупа, хотя он несколько не ослабел.

И вдруг на переходе через ручей показываются казаки! Синие мундиры, красные лампасы, пики. Их целая полусотня. Впереди, на превосходной лошади, чернобородый офицер. Только что полусотня перебралась через ручей, он повернулся на седле всем телом назад и закричал:

– Рысью, маарш!

– Стойте, стойте, бога ради! Помогите, помогите, братцы! – кричу я; но топот дюжих коней, стук шашек и шумный казачий говор громче моего хрипения, – и меня не слышат!

О, проклятие! Я в изнеможении падаю лицом к земле и начинаю рыдать. Из опрокинутой мною фляжки течет вода, моя жизнь, мое спасенье, моя отсрочка смерти. Но я замечаю это уже тогда, когда воды осталось не больше полстакана, а остальная ушла в жадную сухую землю.

Могу ли я припомнить то оцепенение, которое овладело мною после этого ужасного случая? Я лежал неподвижно, с полужакрытыми глазами. Ветер постоянно переменялся и то дул на меня свежим, чистым воздухом, то снова обдавал меня вонью. Сосед в этот день сделался страшнее всякого описания. Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло с костей. Страшная костяная улыбка, вечная улыбка показалась мне такой отвратительной, такой ужасной, как никогда, хотя мне случалось не раз держать черепа в руках и препарировать целые головы. Этот скелет в мундире с светлыми пуговицами привел меня в содрогание. «Это война, – подумал я, – вот ее изображение».

А солнце жжет и печет по-прежнему. Руки и лицо у меня уже давно обожжены. Оставшуюся воду я выпил всю. Жажда мучила так сильно, что, решившись выпить маленький глоток, я залпом проглотил все. Ах, зачем я не закричал казакам, когда они были так близко от меня! Если бы даже это были и турки, все-таки лучше. Ну, мучили бы час, два, а тут я и не знаю еще, сколько времени придется валяться здесь и страдать. Мать моя, дорогая моя! Вырвешь ты свои седые косы, ударишься головою об стену, проклянешь тот день, когда родила меня, весь мир проклянешь, что выдумал на страдание людям войну!

Но вы с Машей, должно быть, и не услышите о моих муках. Прощай, мать, прощай, моя невеста, моя любовь! Ах, как тяжело, горько! Под сердце подходит что-то...

Опять эта беленькая собачка! Дворник не пожалел ее, стукнул головою об стену и бросил в яму, куда бросают сор и льют помои. Но она была жива. И мучилась еще целый день. А я несчастнее ее, потому что мучаюсь целые три дня. Завтра – четвертый, потом пятый, шестой... Смерть, где ты? Иди, иди! Возьми меня!

Но смерть не приходит и не берет меня. И я лежу под этим страшным солнцем, и нет у меня глотка воды, чтоб освежить воспаленное горло, и труп заражает меня. Он совсем расплылся. Мириады червей падают из него. Как они копошатся! Когда он будет съеден и от него останутся одни кости и мундир, тогда – моя очередь. И я буду таким же.

Проходит день, проходит ночь. Все то же. Наступает утро. Все то же. Проходит еще день...

Кусты шевелятся и шелестят, точно тихо разговаривают. «Вот ты умрешь, умрешь, умрешь!» – шепчут они. «Не увидишь, не увидишь, не увидишь!» – отвечают кусты с другой стороны.

– Да тут их и не увидишь! – громко раздается около меня.

Я вздрагиваю и разом прихожу в себя. Из кустов глядят на меня добрые голубые глаза Яковлева, нашего ефрейтора.

– Лопаты! кричит он. – Тут еще двое, наш да ихний.

«Не надо лопат, не надо зарывать меня, я жив!» – хочу я закричать, но только слабый стон выходит из запекшихся губ.

– Господи! Да никак он жив? Барин Иванов! Ребята! Вали сюда, наш барин жив! Да доктора зови!

Через полминуты мне льют в рот воду, водку и еще что-то. Потом все исчезает.

Мерно качаясь, двигаются носилки. Это мерное движение убаюкивает меня. Я-то проснусь, то снова забудусь. перевязанные раны не болят; какое-то невыразимо отрадное чувство разлито во всем теле...

– Сто-о-ой! О-опуска-а-й! Санитары, четвертая смена, марш! За носилки! Берись, подыма-ай!

Это командует Петр Иваныч, наш лазаретный офицер, высокий, худой и очень добрый человек. Он так высок, что, обернув глаза в его сторону, я постоянно вижу его голову с редкой длинной бородой и плечи, хотя носилки несут на плечах четыре рослых солдата.

– Петр Иваныч! – шепчу я.

– Что, голубчик?

Петр Иваныч наклоняется надо мною.

– Петр Иваныч, что вам сказал доктор? Скоро я умру?

– Что вы, Иванов, полноте! Не умрете вы. Ведь у вас все кости целы. Этаким счастливцем! Ни кости, ни артерии. Да как вы выжили эти трое с половиною суток? Что вы ели?

– Ничего.

– А пили?

– У турка взял флягу. Петр Иваныч, я не могу говорить теперь. После.

– Ну, господь с вами, голубчик, спите себе.

Снова сон, забытье...

Я очнулся в дивизионном лазарете. Надо мною стоят доктора, сестры милосердия, и, кроме них, я вижу еще знакомое лицо знаменитого петербургского профессора, наклонившегося над моими ногами. Его руки в крови. Он возится у моих ног недолго и обращается ко мне:

– Ну, счастлив ваш бог, молодой человек! Живы будете. Одну ножку-то мы от вас взяли; ну да ведь это – пустяки. Можете вы говорить?

Я могу говорить и рассказываю им все, что здесь написано.

1877

Антон Чехов

В овраге

I

Село Уклеево лежало в овраге, так что с шоссе и со станции железной дороги видны были только колокольня и трубы ситценабивных фабрик. Когда прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили:

– Это то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел.

Как-то на поминках у фабриканта Костюкова старикдьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью; его толкали, дергали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения: ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было фунта четыре. И прошло уж много времени с тех пор, дьячок давно умер, а про икру все помнили. Жизнь ли была так бедна здесь, или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного события, происшедшего десять лет назад, а только про село Уклеево ничего другого не рассказывали.

В нем не переводилась лихорадка и была топкая грязь даже летом, особенно под заборами, над которыми сгибались старые вербы, дававшие широкую тень. Здесь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой, которую употребляли при выделке ситцев. Фабрики – три ситцевые и одна кожевенная – находились не в самом селе, а на краю и поодаль. Это были небольшие фабрики, и на всех их было занято около четырехсот рабочих, не больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей; отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фабрику приказано было закрыть. Она считалась закрытой, но работала тайно с ведома станового пристава и уездного врача, которым владелец платил по десяти рублей в месяц. Во всем селе было только два порядочных дома, каменных, крытых железом; в одном помещалось волостное правление, в другом, двухэтажном, как раз против церкви, жил Цыбукин, Григорий Петров, епифанский мещанин.

Григорий держал бакалейную лавочку, но это только для вида, на самом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями, торговал чем придется, и когда, например, за границу требовались для дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по тридцати копеек; он скупал лес на сруб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый.

У него было два сына. Старший, Анисим, служил в полиции, в сыском отделении, и редко бывал дома. Младший, Степан, пошел по торговой части и помогал отцу, но настоящей помощи от него не ждали, так как он был слаб здоровьем и глух; его жена Аксинья, красивая, стройная женщина, ходившая в праздники в шляпке и с зонтиком, рано вставала, поздно ложилась и весь день бегала, подобрав свои юбки и гремя ключами, то в амбар, то в погреб, то в лавку, и старик Цыбукин глядел на нее весело, глаза у него загорались, и в это время он жалел, что на ней женат не старший сын, а младший, глухой, который, очевидно, мало смыслил в женской красоте.

У старика всегда была склонность к семейной жизни, и он любил свое семейство больше всего на свете, особенно старшего сына-сыщика и невестку. Аксинья, едва вышла за глухого, как обнаружила необыкновенную деловитость и уже знала, кому можно отпустить в долг, кому нельзя, держала при себе ключи, не доверяя их даже мужу, щелкала на счетах, заглядывала лошадям в зубы, как мужик, и все смеялась или покрикивала; и, что бы она ни делала, ни говорила, старик только умилялся и бормотал:

– Ай да невестушка! Ай да красавица, матушка...

Он был вдов, но через год после свадьбы сына не выдержал и сам женился. Ему нашли за тридцать верст от Уклеева девушку Варвару Николаевну из хорошего семейства, уже пожилую, но красивую, видную. Едва она поселилась в комнатке в верхнем этаже, как все просветлело в доме, точно во все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампадки, столы покрылись белыми как снег скатертями, на окнах и в палисаднике показались цветы с красными глазками, и уж за обедом ели не из одной миски, а перед каждым ставилась тарелка. Варвара Николаевна улыбалась приятно и ласково, и казалось, что в доме все улыбается. И во двор, чего раньше никогда не было, стали заходить нищие, странники, богомолки; слышались под окнами жалобные, певучие голоса уклеевских баб и виноватый кашель слабых, испитых мужиков, уволенных с фабрики за пьянство. Варвара помогала деньгами, хлебом, старой одеждой, а потом, обжившись, стала потаскивать и из лавки. Раз глухой видел, как она унесла две осьмушки чаю, и это его смутило.

– Тут мамаша взяли две осьмушки чаю, – сообщил он потом отцу. – Куда это записать?

Старик ничего не ответил, а постоял, подумал, шевеля бровями, и пошел наверх к жене.

– Варварушка, ежели тебе, матушка, – сказал он ласково, – понадобится что в лавке, то ты бери. Бери себе на здоровье, не сомневайся.

И на другой день глухой, пробегая через двор, крикнул ей:

– Вы, мамаша, ежели что нужно, – берите!

В том, что она подавала милостыню, было что-то новое, что-то веселое и легкое, как в лампадах и красных цветочках. Когда в заговенье или в престольный праздник, который продолжался три дня, сбывали мужикам протухлую солонину с таким тяжким запахом, что трудно было стоять около бочки, и принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустившись, уже туманом стоял в воздухе, тогда становилось как-то легче при мысли, что там, в доме, есть тихая, опрятная женщина, которой нет дела ни до солонины, ни до водки; милостыня ее действовала в эти тягостные, туманные дни, как предохранительный клапан в машине.

Дни в доме Цыбукина проходили в заботах. Еще солнце не всходило, а Аксинья уже фыркала, умываясь в сенях, самовар кипел в кухне и гудел, предсказывая что-то недоброе. Старик Григорий Петров, одетый в длинный черный сюртук и ситцевые брюки, в высоких ярких сапогах, такой чистенький, маленький, похаживал по комнатам и постукивал каблучками, как свекор-батюшка в известной песне. Отпирали лавку. Когда становилось светло, подавали к крыльцу беговые дрожки и старик молодцевато садился на них, надвигая свой большой картуз до ушей, и, глядя на него, никто не сказал бы, что ему уже 56 лет. Его провожали жена и невестка, и в это время, когда на нем был хороший, чистый сюртук и в дрожки был запряжен громадный вороной жеребец, стоивший триста рублей, старик не любил, чтобы к нему подходили мужики со своими просьбами и жалобами; он ненавидел мужиков и брезговал ими, и если видел, что какой-нибудь мужик дожидается у ворот, то кричал гневно:

– Что стал там? Проходи дальше!

Или кричал, если то был нищий:

– Бог дасьть!

Он уезжал по делам; жена его, одетая в темное, в черном фартуке, убирала комнаты или помогала в кухне. Аксинья торговала в лавке, и слышно было во дворе, как звенели бутылки и деньги, как она смеялась или кричала и как сердились покупатели, которых она обижала; и в то же время было заметно, что там в лавке тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел в лавке или, без шапки, заложив руки в карманы, ходил по улице и рассеянно поглядывал то на избы, то вверх на небо. Раз шесть в день в доме пили чай; раза четыре садились за стол есть. А вечером считали выручку и записывали, потом спали крепко.

В Уклееве все три ситцевые фабрики и квартиры фабрикантов Хрыминых Старших, Хрыминых Младших и Костюкова были соединены телефоном. Провели телефон и в волост-

ное правление, но там он скоро перестал действовать, так как в нем завелись клопы и прусаки. Волостной старшина был малограмотен и в бумагах каждое слово писал с большой буквы, но когда испортился телефон, то он сказал:

– Да, теперь нам без телефона будет трудно.

Хрымины Старшие постоянно судились с Младшими, иногда и Младшие ссорились между собою и начинали судиться, и тогда их фабрика не работала месяц, два, пока они опять не мирились, и это развлекало жителей Уклеева, так как по поводу каждой ссоры было много разговоров и сплетен. В праздники Костюков и Хрымины Младшие устраивали катание, носились по Уклееву и давили телят. Аксиныя, шурша накрахмаленными юбками, разодетая, прогуливалась на улице, около своей лавки; Младшие подхватывали ее и увозили как будто насильно. Тогда выезжал и старик Цыбукин, чтобы показать свою новую лошадь, и брал с собой Варвару.

Вечером, после катания, когда ложились спать, во дворе у Младших играли на дорогой гармонике, и если была луна, то от звуков этих становилось на душе тревожно и радостно, и Уклееву уже не казалось ямой.

II

Старший сын Анисим приезжал домой очень редко, только в большие праздники, но зато часто присылал с земляками гостинцы и письма, написанные чьим-то чужим почерком, очень красивым, всякий раз на листе писчей бумаги в виде прошения. Письма были полны выражений, каких Анисим никогда не употреблял в разговоре: «Любезные папаша и мамаша, посылаю вам фунт цветочного чаю для удовлетворения вашей физической потребности».

Внизу каждого письма было нацарапано, точно испорченным пером: «Анисим Цыбукин», и под этим опять тем же превосходным почерком: «Агент».

Письма читались вслух по нескольку раз, и старик, растроганный, красный от волнения, говорил:

– Вот, не захотел дома жить, пошел по ученой части. Что ж, пускай! Кто к чему приставлен.

Как-то перед Масленицей пошел сильный дождь с крупой; старик и Варвара подошли к окну, чтобы посмотреть, а глядь – Анисим едет в санях со станции. Его совсем не ждали. Он вошел в комнату беспокойный и чем-то встревоженный и таким оставался потом все время; и держал себя как-то развязно. Не спешил уезжать, и похоже было, как будто его уволили со службы. Варвара была рада его приезду; она поглядывала на него как-то лукаво, вздыхала и покачивала головой.

– Как же это такое, батюшки? – говорила она. – Этих-тех, парню уже двадцать восьмой годочек пошел, а он все холостой разгуливает, ох-тех-те...

Из другой комнаты ее тихая, ровная речь слышалась так: «Ох-тех-те». Она стала шептаться со стариком и с Аксиной, и их лица тоже приняли лукавое и таинственное выражение, как у заговорщиков.

Решили женить Анисима.

– Ох-тех-те!.. Младшего брата давно женили, – говорила Варвара, – а ты все без пары, словно петух на базаре. По-каковски это? Этих-тех, женишься, бог даст, там как хочешь, поедешь на службу, а жена останется дома помощницей-те. Без порядку-те живешь, парень, и все порядки, вижу, забыл. Ох-тех-те, грех один с вами, с городскими.

Когда Цыбукины женились, то для них, как для богатых, выбирали самых красивых невест. И для Анисима отыскивали тоже красивую. Сам он имел неинтересную, незаметную наружность; при слабом, нездоровом сложении и при небольшом росте у него были полные, пухлые щеки, точно он надувал их; глаза не мигали, и взгляд был острый, борода рыжая,

жидкая, и, задумавшись, он все совал ее в рот и кусал; и к тому же он часто выпивал, и это было заметно по его лицу и походке. Но когда ему сообщили, что для него уже есть невеста, очень красивая, то он сказал:

– Ну да ведь и я тоже не кривой. Наше семейство Цыбукины, надо сказать, все красивые.

Под самым городом было село Торгуево. Одна половина его была недавно присоединена к городу, другая оставалась селом. В первой, в своем домике, проживала одна вдова; у нее была сестра, совсем бедная, ходившая на поденную работу, а у этой сестры была дочь Липа, девушка, ходившая тоже на поденку. О красоте Липы уже говорили в Торгуеве, и только смущала всех ее ужасная бедность; рассуждали так, что какой-нибудь пожилой или вдовец женится, не глядя на бедность, или возьмет ее к себе «так», а при ней и мать сыта будет. Варвара узнала о Липе от свах и съездила в Торгуево.

Потом в доме тетки были устроены смотрины, как следует, с закуской и вином, и Липа была в новом розовом платье, сшитом нарочно для смотрин, и пунцовая ленточка, точно пламень, светилась в ее волосах. Она была худенькая, слабая, бледная, с тонкими, нежными чертами, смуглая от работы на воздухе; грустная, робкая улыбка не сходила у нее с лица, и глаза смотрели по-детски – доверчиво и с любопытством.

Она была молода, еще девочка, с едва заметной грудью, но венчать было уже можно, так как года вышли. В самом деле она была красива, и одно только могло в ней не нравиться – это ее большие, мужские руки, которые теперь праздно висели, как две большие клешни.

– Нет приданого – и мы без внимания, – говорил старик тетке, – для сына нашего Степана мы взяли тоже из бедного семейства, а теперь не нахвалимся. Что в доме, что в деле – золотые руки.

Липа стояла у двери и как будто хотела сказать: «Делайте со мной что хотите: я вам верю», а ее мать Прасковья, поденщица, пряталась в кухне и замирала от робости. Когда-то, еще в молодости, один купец, у которого она мыла полы, рассердившись, затопал на нее ногами, она сильно испугалась, обомлела, и на всю жизнь у нее в душе остался страх. А от страха всегда дрожали руки и ноги, дрожали щеки. Сидя в кухне, она старалась подслушать, о чем говорят гости, и все крестилась, прижимая пальцы ко лбу и поглядывая на образ. Анисим, слегка пьяный, отворял дверь в кухню и говорил развязно:

– Что же это вы тут сидите, мамаша драгоценная? Нам без вас скучно.

А Прасковья, оробев, прижимая руки к своей тощей, исхудалой груди, отвечала:

– Что вы, помилуйте-с... Много вами довольны-с.

После смотрин назначили день свадьбы. Потом у себя дома Анисим все ходил по комнатам и посвистывал или же, вдруг вспомнив о чем-то, задумывался и глядел в пол неподвижно, пронзительно, точно взглядом хотел проникнуть глубоко в землю. Он не выражал ни удовольствия от того, что женится, женится скоро, на Красной Горке, ни желания повидаться с невестой, а только посвистывал. И было очевидно, что женится он только потому, что этого хотят отец и мачеха, и потому, что в деревне такой уж обычай: сын женится, чтобы дома была помощница. Уезжая, он не торопился и держал себя вообще не так, как в прошлые свои приезды, – был как-то особенно развязан и говорил не то, что нужно.

III

В деревне Шикаловой жили портнихи, две сестры— хлыстовки. Им были заказаны к свадьбе обновы, и они часто приходили примеривать и подолгу пили чай.

Варваре сшили коричневое платье с черными кружевами и со стеклярусом, а Аксинье – светло-зеленое, с желтой грудью и со шлейфом. Когда портнихи кончили, то Цыбукин заплатил им не деньгами, а товаром из своей лавки, и они ушли от него грустные, держа в руках узелки

со стеариновыми свечами и сардинами, которые были им совсем не нужны, и, выйдя из села в поле, сели на бугорок и стали плакать.

Анисим приехал за три дня до свадьбы, во всем новом. На нем были блестящие резиновые калоши и вместо галстука красный шнурок с шариками, и на плечах висело пальто, не надетое в рукава, тоже новое.

Степенно помолившись Богу, он поздоровался с отцом и дал ему десять серебряных рублей и десять полтинников; и Варваре дал столько же, Аксиные – двадцать четвертаков. Главная прелесть этого подарка была именно в том, что все монеты как на подбор были новенькие и сверкали на солнце. Стараясь казаться степенным и серьезным, Анисим напрягал лицо и надувал щеки, и от него пахло вином; вероятно, на каждой станции выбегал к буфету. И опять была какая-то развязность, что-то лишнее в человеке. Потом Анисим и старик пили чай и закусывали, а Варвара перебирала в руках новенькие рубли и расспрашивала про земляков, живших в городе.

– Ничего, благодарить бога, живут хорошо, – говорил Анисим. – Только вот у Ивана Егорова происшествие в семейной жизни: померла его старуха Софья Никифоровна. От чахотки. Поминальный обед за упокой души заказывали у кондитера, по два с полтиной с персоны. И виноградное вино было. Которые мужики, наши земляки – и за них тоже по два с полтиной. Ничего не ели. Нешто мужик понимает соус!

– Два с полтиной! – сказал старик и покачал головой.

– А что же? Там не деревня. Зайдешь в ресторан подзакусить, спросишь того-другого, компания соберется, выпьешь – ан глядишь, уже рассвет, и пожалуйста по три или по четыре рубля с каждого. А когда с Самородовым, так тот любит, чтоб после всего кофий с коньяком, а коньяк по шести гривен рюмочка-с.

– И все врет, – проговорил старик в восхищении. – И все врет!

– Я теперь всегда с Самородовым. Это тот самый Самородов, что вам мои письма пишет. Великолепно пишет. И если б рассказать, мамаша, – весело продолжал Анисим, обращаясь к Варваре, – какой человек есть этот самый Самородов, то вы не поверите. Мы его все Мухтаром зовем, так как он вроде армяшки – весь черный. Я его насквозь вижу, все дела его знаю вот как свои пять пальцев, мамаша, и он это чувствует и все за мной ходит, не отстает, и нас теперь водой не разольешь. Ему как будто жутковато, но и без меня жить не может. Куда я, туда и он. У меня, мамаша, верный, правильный глаз. Глядишь на толкучке: мужик рубаху продает. – Стой, рубаха краденая! – И верно, так и выходит: рубаха краденая.

– Откуда же ты знаешь? – спросила Варвара.

– Ниоткуда, глаз у меня такой. Я не знаю, какая там рубаха, а только почему-то так меня и тянет к ней: краденая и все тут. У нас в сыском так уж и говорят: «Ну, Анисим пошел вальдшнепов стрелять!» Это значит – искать краденое. Да... Украсть всякий может, да вот как сберечь! Велика земля, а спрятать краденое негде.

– А в нашем селе у Гунторевых на прошлой неделе угнали барана и двух ярок, – сказала Варвара и вздохнула. – И поискать некому... Ох-тех-те...

– Что ж? Поискать можно. Это ничего, можно.

Подошел день свадьбы. Это был прохладный, но ясный, веселый апрельский день. Уже с раннего утра по Уклееву разъезжали, звеня колоколами, тройки и пары с разноцветными лентами на дугах и в гривах. В вербах шумели грачи, потревоженные этой ездой, и, надсаживаясь, не умолкая, пели скворцы, как будто радуясь, что у Цыбукиных свадьба.

В доме на столах уже были длинные рыбы, окорока и птицы с начинкой, коробки со шпротами, разные соленья и маринады и множество бутылок с водкой и винами, пахло копченой колбасой и прокисшими омарами. И около столов, постукивая каблучками и точка нож о нож, ходил старик. Варвару то и дело окликали, чего-нибудь требовали, и она с растерянным видом, тяжело дыша, бегала в кухню, где с рассвета работал повар от Костюкова и белая

кухарка от Хрыминых Младших. Аксинья, завитая, без платья, в корсете, в новых скрипучих ботинках, носилась по двору как вихрь, и только мелькали ее голые колени и грудь.

Было шумно, слышалась брань, божба; прохожие останавливались у настежь открытых ворот, и чувствовалось во всем, что готовится что-то необыкновенное.

– За невестой поехали!

Звонки заливались и замирали далеко за деревней... В третьем часу побежал народ: опять слышались звонки, везут невесту! Церковь была полна, горело паникадило, певчие, как пожелал того старик Цыбукин, пели по нотам. Блеск огней и яркие платья ослепили Липу, ей казалось, что певчие своими громкими голосами стучат по ее голове, как молотками; корсет, который она надела первый раз в жизни, и ботинки давили ее, и выражение у нее было такое, как будто она только что очнулась от обморока, – глядит и не понимает. Анисим, в черном сюртуке, с красным шнурком вместо галстука, задумался, глядя в одну точку, и когда певчие громко вскрикивали, быстро крестился. На душе у него было умиление, хотелось плакать. Эта церковь была знакома ему с раннего детства; когда-то покойная мать приносила его сюда приобщать, когда-то он пел на клиросе с мальчиками; ему так памятен каждый уголок, каждая икона. Его вот венчают, его нужно женить для порядка, но он уж не думал об этом, как-то не помнил, забыл совсем о свадьбе. Слезы мешали глядеть на иконы, давило под сердцем; он молился и просил у Бога, чтобы несчастья, неминуемые, которые готовы уже разразиться над ним не сегодня-завтра, обошли бы его как-нибудь, как грозовые тучи в засуху обходят деревню, не дав ни одной капли дождя. И столько грехов уже наворочено в прошлом, столько грехов, так все невылазно, непоправимо, что как-то даже несообразно просить о прощении. Но он просил и о прощении и даже всхлипнул громко, но никто не обратил на это внимания, так как подумали, что он выпивши.

Послышался тревожный детский плач:

– Милая мамка, унеси меня отсюда, касатка!

– Тише там! – крикнул священник.

Когда возвращались из церкви, то бежал вслед народ; около лавки, около ворот и во дворе под окнами тоже была толпа. Пришли бабы величать. Едва молодые переступили порог, как громко, изо всей силы, вскрикнули певчие, которые уже стояли в сенях со своими нотами; заиграла музыка, нарочно выписанная из города. Уже подносили донское шипучее в высоких бокалах, и подрядчик-плотник Елизаров, высокий, худощавый старик с такими густыми бровями, что глаза были едва видны, говорил, обращаясь к молодым:

– Анисим и ты, деточка, любите друг дружку, живите по-божески, деточки, и Царица Небесная вас не оставит. – Он припал к плечу старика и всхлипнул. – Григорий Петров, восплачем, восплачем от радости! – проговорил он тонким голоском и тотчас же вдруг захохотал и продолжал громко, басом: – Хо-хо-хо! И эта хороша у тебя невестка! Все, значит, в ней на месте, все гладенько, не громыхнет, вся механизма в исправности, винтов много.

Он был родом из Егорьевского уезда, но с молодых лет работал в Уклееве на фабриках и в уезде и прижился тут. Его давно уже знали старым, таким же вот тощим и длинным, и давно уже его звали Костылем. Быть может, оттого, что больше сорока лет ему приходилось заниматься на фабриках только ремонтом, – он о каждом человеке или вещи судил только со стороны прочности: не нужен ли ремонт. И прежде чем сесть за стол, он попробовал несколько стульев, прочны ли, и сига тоже потрогал.

После шипучего все стали садиться за стол. Гости говорили, двигая стульями. Пели в сенях певчие, играла музыка, и в это же время на дворе бабы величали, все в один голос, – и была какая-то ужасная, дикая смесь звуков, от которой кружилась голова.

Костыль вертелся на стуле и толкал соседей локтями, мешал говорить, и то плакал, то хохотал.

– Деточки, деточки, деточки... – бормотал он быстро. – Аксиныюшка-матушка, Варварушка, будем жить все в мире и согласии, топорики мои любезные...

Он пил мало и теперь опьянел от одной рюмки английской горькой. Эта отвратительная горькая, сделанная неизвестно из чего, одурманила всех, кто пил ее, точно ушибла. Стали заплетаться языки.

Тут было духовенство, приказчики с фабрик с женами, торговцы и трактирщики из других деревень. Волостной старшина и волостной писарь, служившие вместе уже четырнадцать лет и за все это время не подписавшие ни одной бумаги, не отпустившие из волостного правления ни одного человека без того, чтобы не обмануть и не обидеть, сидели теперь рядом, оба толстые, сытые, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая. Жена писаря, женщина исхудалая, косая, привела с собой всех своих детей, и, точно хищная птица, косилась на тарелки, и хватала все, что попадалось под руку, и прятала себе и детям в карманы.

Липа сидела окаменелая, все с тем же выражением, как в церкви. Анисим, с тех пор как познакомился с ней, не проговорил с ней ни одного слова, так что до сих пор не знал, какой у нее голос; и теперь, сидя рядом, он все молчал и пил английскую горькую, а когда охмелел, то заговорил, обращаясь к тетке, сидевшей напротив:

– У меня есть друг, по фамилии Самородов. Человек специальный. Личный почетный гражданин и может разговаривать. Но я его, тетенька, насквозь вижу, и он это чувствует. Позвольте с вами выпить за здоровье Самородова, тетенька!

Варвара ходила вокруг стола, угощая гостей, утомленная, растерянная, и, видимо, была довольна, что так много кушаний и все так богато, – никто не осудит теперь. Зашло солнце, а обед продолжался; уже не понимали, что ели, что пили, нельзя было расслышать, что говорят, и только изредка, когда затихала музыка, ясно было слышно, как на дворе кричала какая-то баба:

– Насосались нашей крови, ироды, нет на вас погибели!

Вечером были танцы под музыку. Приехали Хрымины Младшие со своим вином, и один из них, когда танцевали кадрили, держал в обеих руках по бутылке, а во рту рюмку, и это всех смешило. Среди кадрили пускались вдруг вприсядку; зеленая Аксиныя только мелькала, и от шлейфа ее дуло ветром. Кто-то оттоптал ей внизу оборку, и Костыль крикнул:

– Эй, внизу плинтус оторвали! Деточки!

У Аксины были серые наивные глаза, которые редко мигали, и на лице постоянно играла наивная улыбка. И в этих немигающих глазах, и в маленькой голове на длинной шее, и в ее стройности было что-то змеиное; зеленая, с желтой грудью, с улыбкой, она глядела, как весной из молодой ржи глядит на прохожего гадюка, вытянувшись и подняв голову. Хрымины держались с ней вольно, и заметно было очень, что со старшим из них она давно уже находилась в близких отношениях. А глухой ничего не понимал, не глядел на нее; он сидел, положив ногу на ногу, и ел орехи и раскусывал их так громко, что, казалось, стрелял из пистолета.

Но вот и сам старик Цыбукин вышел на середину и взмахнул платком, подавая знак, что и он тоже хочет плясать русскую, и по всему дому и во дворе в толпе пронесся гул одобрения:

– Сам вышел! Сам!

Плясала Варвара, а старик только помахивал платком и перебирал каблукчиками, но те, которые там, во дворе, нависая друг на друге, заглядывали в окна, были в восторге и на минуту простили ему все – и его богатство, и обиды.

– Молодчина, Григорий Петров! – слышалось в толпе. – Так, старайся! Значит, еще можешь заниматься! Ха-ха!

Все это кончилось поздно, во втором часу ночи. Анисим, пошатываясь, обходил на прощание певчих и музыкантов и дарил каждому по новому полтиннику. И старик, не качаясь, а все как-то ступая на одну ногу, провожал гостей и говорил каждому:

– Свадьба две тысячи стоила.

Когда расходились, у Шикаловского трактирщика кто-то обменял хорошую поддевку на старую, и Анисим вдруг вспыхнул и стал кричать:

– Стой! Я сыщу сейчас! Я знаю, кто это украл! Стой!

Он выбежал на улицу, погнался за кем-то; его поймали, повели под руки домой и пихнули его, пьяного, красного от гнева, мокрого, в комнату, где тетка уже раздевала Липу, и заперли.

IV

Прошло пять дней. Анисим, собравшийся уезжать, пришел наверх к Варваре, чтобы проститься. У нее горели все лампадки, пахло ладаном, а сама она сидела у окна и вязала чулок из красной шерсти.

– Мало с нами пожил, – сказала она. – Заскучал небось? Ох-тех-те... Живем мы хорошо, всего у нас много, и свадьбу твою сыграли порядком, правильно; старик сказывал: две тысячи пошло. Одно слово, живем, как купцы, только вот скучно у нас. Уж очень народ обижаем. Сердце мое болит, дружок, обижаем как – и боже мой! Лошадь ли меняем, покупаем ли что, работника ли нанимаем – на всем обман. Обман и обман. Постное масло в лавке горькое, тухлое, у людей деготь лучше. Да нешто, скажи на милость, нельзя хорошим маслом торговать?

– Кто к чему приставлен, мамаша.

– Да ведь умирать надо? Ой-ой, право, поговорил бы ты с отцом!..

– А вы бы сами поговорили.

– Н-ну! Я ему свое, а он мне, как ты, в одно слово: кто к чему приставлен. На том свете так тебе и станут разбирать, кто к чему приставлен. У Бога суд праведный.

– Конечно, никто не станет разбирать, – сказал Анисим и вздохнул. – Бога-то ведь все равно нет, мамаша. Чего уж там разбирать!

Варвара посмотрела на него с удивлением, и засмеялась, и всплеснула руками. Оттого что она так искренно удивилась его словам и смотрела на него как на чудака, он смутился.

– Бог, может, и есть, а только веры нет, – сказал он. – Когда меня венчали, мне было не по себе. Как вот возьмешь из-под курицы яйцо, а в нем цыпленок пищит, так во мне совесть вдруг запищала, и, пока меня венчали, я все думал: есть Бог! А как вышел из церкви – и ничего. Да и откуда мне знать, есть Бог или нет? Нас с малолетства не тому учили, и младенец еще мать сосет, а его только одному и учат: кто к чему приставлен. Папаша ведь тоже в Бога не верует. Вы как-то сказывали, что у Гунторева баранов угнали... Я нашел: это шикаловский мужик украл; он украл, а шкурки-то у папаша... Вот вам и вера!

Анисим подмигнул глазом и покачал головой.

– И старшина тоже не верит в Бога, – продолжал он – и писарь тоже, и дьячок тоже. А ежели они ходят в церковь и посты соблюдают, так это для того, чтобы люди про них худо не говорили, и на тот случай, что, может, и в самом деле страшный суд будет. Теперь так говорят, будто конец света пришел оттого, что народ ослабел, родителей не почитают и прочее. Это пустяки. Я так, мамаша, понимаю, что все горе оттого, что совести мало в людях. Я вижу насквозь, мамаша, и понимаю. Ежели у человека рубаха краденая, я вижу. Человек сидит в трактире, и вам так кажется, будто он чай пьет и больше ничего, а я, чай-то чаем, вижу еще, что в нем совести нет. Так целый день ходишь – и ни одного человека с совестью. И вся причина, потому что не знают, есть Бог или нет... Ну-с, мамаша, прощайте. Оставайтесь живы и здоровы, не поминайте лихом.

Анисим поклонился Варваре в ноги.

– Благодарим вас за все, мамаша, – сказал он. – Нашему семейству от вас большая польза. Вы очень приличная женщина, и я вами много доволен.

Растроганный Анисим вышел, но опять вернулся и сказал:

– Меня Самородов впутал в одно дело: богат буду или пропаду. Ежели что случится, уж вы тогда, мамаша, утешьте моего родителя.

– Ну вот, что там! Ох-тех-те... Бог милостив. А ты бы, Анисим, этих-тех, жену бы свою приласкал, а то глядите друг на дружку надутые оба; хоть бы усмехнулись, право.

– Да какая-то она чудная... – сказал Анисим и вздохнул. – Не понимает ничего, молчит все. Молода очень, пускай подрастет...

У крыльца уже стоял высокий, сытый, белый жеребец, запряженный в шарабан.

Старик Цыбукин разбежался, и сел молодцевато, и взял вожжи. Анисим поцеловался с Варварой, с Аксиньей и с братом. На крыльце стояла также Липа, стояла неподвижно и смотрела в сторону, как будто вышла не провожать, а так, неизвестно зачем. Анисим подошел к ней и прикоснулся губами к ее щеке слегка, чуть-чуть.

– Прощай, – сказал он.

И она, не поглядев на него, улыбнулась как-то странно; лицо у нее задрожало, и всем почему-то стало жаль ее. Анисим тоже сел с подскоком и подбоченился, так как считал себя красивым.

Когда выезжали из оврага наверх, то Анисим все оглядывался назад, на село. Был теплый, ясный день. В первый раз выгнали скотину, и около стада ходили девушки и бабы, одетые по-праздничному. Бурый бык ревел, радуясь свободе, и рыл передними ногами землю. Всюду, и вверху, и внизу, пели жаворонки. Анисим оглядывался на церковь, стройную, беленькую – ее недавно побелили, – и вспомнил, как пять дней назад молился в ней; оглянулся на школу с зеленой крышей, на речку, в которой когда-то купался и удил рыбу, и радость колыхнулась в груди, и захотелось, чтобы вдруг из земли выросла стена и не пустила бы его дальше и он остался бы только с одним прошлым.

На станции подошли к буфету и выпили по рюмке хересу. Старик полез в карман за кошельком, чтобы заплатить.

– Я угощаю! – сказал Анисим.

Старик в умилении похлопал его по плечу и подмигнул буфетчику: вот-де какой у меня сын.

– Остался бы ты, Анисим, дома, при деле, – сказал он, – цены бы тебе не было! Я бы тебя, сынок, озолотил с головы до ног.

– Никак нельзя, папаша.

Херес был кисловатый, пахло от него сургучом, но выпили еще по рюмке.

Когда старик вернулся со станции, то в первую минуту не узнал своей младшей невестки. Как только муж выехал со двора, Липа изменилась, вдруг повеселела. Босая, в старой, поношенной юбке, засучив рукава до плеч, она мыла в сенях лестницу и пела тонким серебристым голоском, а когда выносила большую лохань с помоями и глядела на солнце со своей детской улыбкой, то было похоже, что это тоже жаворонок.

Старый работник, который проходил мимо крыльца, покачал головой и крикнул.

– Да и невестки же у тебя, Григорий Петров, бог тебе послал! – сказал он. – Не бабы, а чистый клад!

V

8 июля, в пятницу, Елизаров, по прозвищу Костыль, и Липа возвращались из села Казанского, куда они ходили на богомолье, по случаю храмового праздника – Казанской Божией Матери. Далеко позади шла мать Липы Прасковья, которая все отставала, так как была больна и задыхалась. Время было близко к вечеру.

– А-а-а!... – удивлялся Костыль, слушая Липу. – А-а!.. Ну-у?

– Я, Илья Макарыч, до варенья очень охотница, – говорила Липа. – Сяду себе в уголочке и все чай пью с вареньем. Или с Варварой Николавной вместе пьем, а она что-нибудь рассказывают чувствительное. У них варенья много – четыре банки. «Кушай, говорят, – Липа, – не сомневайся».

– А-а-а!.. Четыре банки!

– Богато живут. Чай с белой булкой: и говядины тоже сколько хочешь. Богато живут, только страшно у них, Илья Макарыч. И-и, как страшно!

– Чего ж тебе страшно, деточка? – спросил Костыль и оглянулся, чтобы посмотреть, далеко ли отстала Прасковья.

– Первое, как свадьбу сыграли, Анисима Григорьича боялась. Они ничего, не обижали, а только как подойдут ко мне близко, так по всей по мне мороз, по всем косточкам. И ни одной ноченьки я не спала, все тряслась и Бога молила. А теперь Аксинья боюсь, Илья Макарыч. Она ничего, все усмехается, а только часом взглянет в окошко, а глаза у ней такие сердитые и горят зеленые, словно в хлеву у овцы. Хрымины Младшие ее сбивают: «У вашего старика, – говорят, – есть земляца Бутёкино, десятин сорок, земляца, – говорят, – с песочком и вода есть, так ты, – говорят, – Аксюша, построй от себе кирпичный завод, и мы в долю войдем». Кирпич теперь двадцать рублей тысяча. Дело спорое. Вчерась за обедом Аксинья и говорит старику: «Я, – говорит, – хочу в Бутёкине кирпичный завод ставить, буду сама себе купчиха». Говорит и усмехается. А Григорий Петрович с лица потемнели; видно, не понравилось. «Пока, – говорят, – я жив, нельзя врозь, надо всем вместе». А она глазами метнула, зубами заскриготела... Подали оладьи – не ест!

– А-аа!.. – удивился Костыль, – Не ест!

– И скажи, сделай милость, когда она спит! – продолжала Липа. – С полчаса спит, а там вскочит, ходит, все ходит, заглядывает: не сожгли б чего мужики, не украли б чего... Страшно с ней, Илья Макарыч! А Хрымины Младшие после свадьбы и спать не ложились, а поехали в город судиться; и народ болтает, будто через Аксинью всё. Два брата пообещались ей завод построить, а третий обижается, а фабрика с месяц стояла, и мой дяденька Прохор без работы по дворам корочки сбирал. Ты бы, говорю, дяденька, пока что пахать пошел или дрова пилить, что срамиться! «Отбился, – говорит, – я от христианской работы, ничего, – говорит, – не умею, Липынька!..»

Около молодой осинової рощицы остановились, чтобы отдохнуть, подождать Прасковью. Елизаров давно уже был подрядчиком, но не держал лошади, а ходил по всему уезду пешком, с одним мешочком, в котором были хлеб и лук, и шагал широко, размахивая руками. И идти с ним рядом было трудно.

У входа в рощу стоял межевой столб. Елизаров потрогал его: прочен ли. Подошла Прасковья, задыхаясь. Ее сморщенное, всегда испуганное лицо сияло счастьем: она была сегодня в церкви, как люди, потом ходила по ярмарке, пила там грушевый квас! С ней это бывало редко, и даже ей казалось теперь, будто она жила в свое удовольствие сегодня первый раз в жизни. Отдохнувши, все трое пошли рядом. Солнце уже заходило, и его лучи проникали сквозь рощу, светились на стволах. Впереди гулко раздавались голоса. Уклеевские девушки давно ушли вперед, но задержались тут в роще: вероятно, подбирали грибы.

– Эй, девки-и! – кричал Елизаров. – Эй, красотки!

В ответ слышался смех.

– Костыль идет! Костыль! Старый хрен!

И эхо тоже смеялось. Вот и роща осталась позади. Видны уже были верхушки фабричных труб, сверкнул крест на колокольне: это было село, «то самое, где дьячок на похоронах всю икру съел». Вот почти уже и дома; оставалось только спуститься в этот большой овраг. Липа и Прасковья, которые шли босиком, сели на траву, чтобы обуться; с ними сел и подрядчик. Если взглянуть сверху, то Уклево со своими вербами, белой церковью и речкой казалось кра-

сивым, тихим, и мешали только крыши фабричные, выкрашенные из экономии в мрачный, дикий цвет. Видна была на той стороне по скату рожь – и копны, и снопы там-сям, точно раскиданные бурей, и только что скошенная, в рядах; и овес уже поспел и теперь на солнце отсвечивал, как перламутр. Была страда. Сегодня праздник, завтра, в субботу, убирать рожь, возить сено, а потом воскресенье, опять праздник; каждый день погромыхивал дальний гром; парило, похоже было на дождь, и, глядя теперь на поле, каждый думал о том, дал бы бог вовремя убратся с хлебом, и было весело и радостно, и непокойно на душе.

– Косари нынче дóроги, – сказала Прасковья. – Рубль сорок в день!

А с ярмарки из Казанского народ все шел и шел; бабы, фабричные в новых картузах, нищие, ребята... То проезжала телега, поднимая пыль, и позади бежала непроданная лошадь, и точно была рада, что ее не продали, то вели за рога корову, которая упрямылась, то опять телега, а в ней пьяные мужики, свесив ноги. Одна старуха вела мальчика в большой шапке и в больших сапогах; мальчик, изнемог от жары и тяжелых сапог, которые не давали его ногам сгибаться в коленях, но все же изо всей силы, не переставая, дул в игрушечную трубу; уже спустились вниз и повернули в улицу, а трубу все еще было слышно.

– А наши фабриканты что-то не в себе... – сказал Елизаров. – Беда! Костюков осерчал на меня. «Много, – говорит, – тесу пошло на карнизы». Как много? Сколько надо было, Василий Данилыч, столько, говорю, и пошло. Я его не с кашей ем, тесто. «Как, – говорит, – ты можешь мне такие слова? Болван, такой-сякой! Не забывайся! Я, – кричит, – тебя подрядчиком сделал!» Эка, говорю, невидаль! Когда, говорю, не был в подрядчиках, все равно каждый день чай пил. «Все, – говорит, – вы жулики...» Я смолчал. Мы на этом свете жулики, думаю, а вы на том свете будете жулики. Хо-хо-хо! На другой день отмяк. «Ты, – говорит, – на меня не гневайся, Макарыч, за мои слова. Ежели, – говорит, – я что лишнее, так ведь и то сказать, я купец первой гильдии, старше тебя, – ты смолчать должен». Вы, говорю, купец первой гильдии, а я плотник, это правильно. И святой Иосиф, говорю, был плотник. Дело наше праведное, богоугодное, а ежели, говорю, вам угодно быть старше, то сделайте милость, Василий Данилыч. А потом этого, после, значит, разговору, я и думаю: кто же старше? Купец первой гильдии или плотник? Стало быть, плотник, деточки!

Костыль подумал и добавил:

– Оно так, деточки. Кто трудится, кто терпит, тот и старше.

Солнце уже зашло, и над рекой, в церковной ограде и на полянах около фабрик поднимался густой туман, белый, как молоко. Теперь, когда быстро наступала темнота, мелькали внизу огни и когда казалось, что туман скрывает под собой бездонную пропасть, Липе и ее матери, которые родились нищими и готовы были прожить так до конца, отдавая другим все, кроме своих испуганных, кротких душ, – быть может, им примерещилось на минуту, что в этом громадном, таинственном мире, в числе бесконечного ряда жизней и они сила, и они старше кого-то; им было хорошо сидеть здесь наверху, они счастливо улыбались и забыли о том, что возвращаться вниз все-таки надо.

Наконец вернулись домой. У ворот и около лавки сидели на земле косари. Обыкновенно свои уклеевские не шли к Цыбукину работать, и приходилось нанимать чужих, и теперь казалось в потемках, что сидят люди с длинными черными бородами. Лавка была отперта, и видно было в дверь, как глухой играл с мальчиком в шашки. Косари пели тихо, чуть слышно, или громко просили отдать им за вчерашний день, но им не платили, чтобы они не ушли до завтра. Старик Цыбукин, без сюртука, в жилетке, и Аксинья у крыльца под березой пили чай; и горела на столе лампа.

– Дедушка-а! – говорил за воротами косарь, как бы дразня. – Заплати хоть половину! Дедушка-а!

И тотчас же слышался смех, а потом опять пели чуть слышно... Костыль сел тоже чай пить.

– Были мы, значит, на ярмарке, – начал он рассказывать. – Гуляли, деточки, очень хорошо гуляли, слава тебе господи. И случай такой вышел, нехороший: кузнец Сашка купил табак и дает полтинник, значит, купцу. А полтинник фальшивый, – продолжал Костыль и оглянулся; ему хотелось говорить шепотом, но говорил он придушенным, сильным голосом, и всем было слышно. – А полтинник, выходит, фальшивый. Спрашивают: где взял? А это, говорит, мне Анисим Цыбукин дал. Когда, говорит, я у него на свадьбе гулял... Кликнули урядника, повели... Гляди, Петрович, как бы чего не вышло, какого разговору...

– Дедушка-а! – дразнил все тот же голос за воротами. – Дедушка-а!

Наступило молчание.

– Ах, деточки, деточки, деточки... – быстро забормотал Костыль и встал; его одолевала дремота. – Ну, спасибо за чай, за сахар, деточки. Пора и спать. Стал уж я трухлявый, балки во мне все подгнили. Хо-хо-хо!

И, уходя, он сказал:

– Умирать, должно, пора!

И всхлипнул. Старик Цыбукин на допил своего чаю, но еще посидел, подумал; и выражение у него было такое, будто он прислушивался к шагам Костыля, бывшего уже далеко на улице.

– А Сашка-кузнец, чай, наврал, – сказала Аксинья, угадав его мысли.

Он пошел в дом и немного погодя вернулся со свертком; развернул – и блеснули рубли, совершенно новые. Он взял один, попробовал на зуб, бросил на поднос; потом бросил другой...

– Рубли-то взаправду фальшивые... – проговорил он, глядя на Аксинью и точно недоумевая. – Это те... Анисим тогда привез, его подарок. Ты, дочка, возьми, – зашептал он и сунул ей в руки сверток, – возьми, брось в колодец... Ну их! И гляди, чтоб разговору не было. Чего бы не вышло... Убирай самовар, туши огонь...

Липа и Прасковья, сидевшие в сарае, видели, как один за другим погасли огни; только наверху у Варвары светились синие и красные лампадки, и оттуда веяло покоем, довольством и неведением. Прасковья никак не могла привыкнуть к тому, что ее дочь выдана за богатого, и когда приходила, то робко жалась в сених, улыбалась просительно, и ей высылали чаю и сахару. И Липа тоже не могла привыкнуть, и после того, как уехал муж, спала не на своей кровати, а где придется – в кухне или сарае, и каждый день мыла полы или стирала, и ей казалось, что она на поденке. И теперь, вернувшись с богомолья, они пили чай в кухне с кухаркой, потом пошли в сарай и легли на полу между санями и стенкой. Было тут темно, пахло хомутами. Около дома погасли огни, потом слышно было, как глухой запирает лавку, как косари располагались на дворе спать. Далеко, у Хрыминых Младших, играли на дорогой гармонике... Прасковья и Липа стали засыпать.

И когда их разбудили чьи-то шаги, было уже светло от луны; у входа в сарай стояла Аксинья, держа в руках постель.

– Тут, пожалуй, прохладней... – проговорила она, потом вошла и легла почти у самого порога, и луна освещала ее всю.

Она не спала и тяжело вздыхала, разметавшись от жары, сбросив с себя почти все – и при волшебном свете луны какое это было красивое, какое гордое животное! Прошло немного времени, и послышались опять шаги: в дверях показался старик, весь белый.

– Аксинья! – позвал он. – Ты здесь, что ли?

– Ну! – отозвалась она сердито.

– Я тебе давеча сказал, чтоб бросила деньги в колодец. Ты бросила?

– Вот еще, добро в воду бросать! Я косарям отдала...

– Ах, боже мой! – проговорил старик в изумлении и в испуге. – Озорная ты баба... Ах, боже мой!

Он всплеснул руками и ушел и, пока шел, все что-то приговаривал. А немного погодя Аксинья села и вздохнула тяжело, с досадой, потом встала и, забрав в охапку свою постель, вышла.

– И зачем ты отдала меня сюда, маменька! – проговорила Липа.

– Замуж идти нужно, дочка. Так уж не нами положено.

И чувство безутешной скорби готово было овладеть ими. Но казалось им, кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где звезды, видит все, что происходит в Уклееве, сторожит. И как ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в божьем мире правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью.

И обе, успокоенные, прижавшись друг к другу, уснули.

VI

Давно уже пришло известие, что Анисима посадили в тюрьму за подделку и сбыт фальшивых денег. Прошли месяцы, прошло больше полугода, минула длинная зима, наступила весна, и к тому, что Анисим сидит в тюрьме, привыкли и в доме и в селе. И когда кто-нибудь проходил ночью мимо дома или лавки, то вспоминал, что Анисим сидит в тюрьме; и когда звонили на погосте, то почему-то тоже вспоминалось, что он сидит в тюрьме и ждет суда.

Казалось, будто тень легла на двор. Дом потемнел, крыша поржавела, дверь в лавке, обитая железом, тяжелая, выкрашенная в зеленый цвет, пожухла, или, как говорил глухой, «зашкорубла»; и сам старик Цыбукин потемнел как будто. Он давно уже не подстригал волос и бороды, оброс, уже садился в тарантас без подскока и не кричал нищим: «Бог дасить!» Сила у него пошла на убыль, и это было заметно по всему. Уже и люди меньше боялись, и урядник составил в лавке протокол, хотя получал по-прежнему что следует; и три раза вызывали в город, чтобы судить за тайную торговлю вином, и дело все откладывалось за неявкой свидетелей, и старик замучился.

Он часто ездил к сыну, нанимал кого-то, подавал кому-то прошения, пожертвовал куда-то хоругвь. Смотрителю тюрьмы, в которой сидел Анисим, он поднес серебряный подстаканник с надписью по эмали «душа меру знает» и с длинной ложечкой.

– Похлопотать-те, похлопотать-те путем некому, – говорила Варвара. – Ох-тех-те... Попросить бы кого из господ, написали бы главным начальникам... До суда бы хоть выпустили бы! Что парня томить-то!

Она тоже была огорчена, но пополнела, побелела, по-прежнему зажигала у себя лампадки и смотрела, чтобы в доме все было чисто, и угощала гостей вареньем и яблочной пастилой. Глухой и Аксинья торговали в лавке. Затеяли новое дело – кирпичный завод в Бутёкине, и Аксинья ездила туда почти каждый день, в тарантасе; она сама правила и при встрече со знакомыми вытягивала шею, как змея из молодой ржи, и улыбалась наивно и загадочно. А Липа все играла со своим ребенком, который родился у нее перед постом. Это был маленький ребеночек, тощенький, жалкенький, и было странно, что он кричит, смотрит и что его считают чело-веком и даже называют Никифором. Он лежал в люльке, а Липа отходила к двери и говорила кланяясь:

– Здравствуйте, Никифор Анисимыч!

И бежала к нему опростетью, и целовала. Потом отходила к двери, кланялась и опять:

– Здравствуйте, Никифор Анисимыч!

А он задирали свои красные ножки, и плач у него мешался со смехом, как у плотника Елизарова.

Наконец был назначен суд. Старик выехал дней за пять. Потом, слышно было, из села погнали мужиков, вызванных свидетелями; выехал и старый работник, получивший тоже повестку.

Суд был в четверг. Но прошло уже воскресенье, а старик все не возвращался, и не было никаких известий. Во вторник перед вечером Варвара сидела у открытого окна и прислушивалась: не приедет ли старик. В соседней комнате Липа играла со своим ребенком. Она подбрасывала его на руках и говорила в восхищении:

– Ты вырастешь большо-ой, большой! Будешь ты мужи-ик, вместе на поденку пойдем! На поденку пойдем!

– Ну-у! – обиделась Варвара. – Какую там еще поденку выдумала, глупенькая? Он у нас купец будет!..

Липа запела тихо, но немного погодя забылась и опять:

– Вырастешь большой-ой, большой, мужи-ик будешь, вместе на поденку пойдем!

– Ну-у! Заладила!

Липа с Никифором на руках остановилась в дверях и спросила:

– Маменька, отчего я его так люблю? Отчего я его жалею так? – продолжала она дрогнувшим голосом, и глаза у нее заблестели от слез. – Кто он? Какой он из себя? Легкий, как перышко, как крошечка, а люблю его, люблю, как настоящего человека. Вот он ничего не может, не говорит, а я все понимаю, чего он своими глазочками желает.

Варвара прислушалась: донесся шум вечернего поезда, подходившего к станции. Не приехал ли старик? Она уж не слышала и не понимала, о чем говорит Липа, не помнила, как шло время, а только дрожала вся, и это не от страха, а от сильного любопытства. Она видела, как прокатила телега быстро, с грохотом, полная мужиков. Это ехали со станции возвратившиеся свидетели. С телеги, когда она катила мимо лавки, спрыгнул старый работник и пошел во двор. Слышно было, как с ним во дворе поздоровались, спросили его о чем-то...

– Решение прав и всего состояния, – громко сказал он, – и в Сибирь, в каторжную работу на шесть лет.

Видно было, как из лавочки черным ходом вышла Аксинья; она только что отпускала керосин и в одной руке держала бутылку, в другой – лейку, и во рту у нее были серебряные деньги.

– А папаша где? – спросила она, шепелявя.

– На станции, – ответил работник. – «Ужо, – говорит, – будет потемней, тогда приеду».

И когда во дворе стало известно, что Анисим осужден в каторжные работы, кухарка в кухне вдруг заголосила, как по покойнике, думая, что этого требует приличие:

– И на кого ты нас покинул, Анисим Григорыч, соколик ясный...

Залаляли встревоженные собаки. Варвара подбежала к окошку и, заметавшись в тоске, стала кричать кухарке, изо всей силы напрягая голос:

– Бу-удет тебе, Степанида, бу-удет! Не томи, Христа ради!

Забыли поставить самовар, уже не соображали ни о чем. Только одна Липа никак не могла понять, в чем дело, и продолжала носиться с ребенком.

Когда приехал старик со станции, то его уж ни о чем не спрашивали. Он поздоровался, потом прошелся по всем комнатам молча; не ужинал.

– Похлопотать-те некому... – начала Варвара, когда они остались вдвоем. – Говорила я, чтоб господ попросить, – не послушали тогда... Прощение бы...

– Хлопотал я! – сказал старик и махнул рукой. – Как Анисима осудили, я к тому барину, что его защищал. «Ничего, – говорит, – теперь нельзя, поздно». И сам Анисим так говорит: поздно. А все ж я, как вышел из суда, одного адвоката договорил; задаток ему дал... Погожу еще недельку, а там опять поеду. Что бог даст.

Старик опять молча прошелся по всем комнатам, и когда вернулся к Варваре, то сказал:

– Должно, нездоров я. В голове того... туманится. Мысли мутятся.

Он затворил дверь, чтобы не услышала Липа, и продолжал тихо:

– С деньгами у меня нехорошо. Помнишь, Анисим перед свадьбой на Фоминой привез мне новых рублей и полтинников? Сверточек-то один я тогда спрятал, а прочие какие я смешал со своими... И когда-то, царствие небесное, жив был дядя мой, Дмитрий Филатыч, все, бывало, за товаром ездил то в Москву, то в Крым. Была у него жена, и эта самая жена, пока он, значит, за товаром ездил, с другими гуляла. Шестеро детей было. И вот, бывало, дяденька, как выпьет, то смеется: «Никак, – говорит, – я не разберу, где тут мои дети, а где чужие». Легкий характер, значит. Так и я теперь не разберу, какие у меня деньги настоящие и какие фальшивые. И кажется, что они все фальшивые.

– Ну вот, бог с тобой!

– Покупаю на вокзале билет, даю три рубля, и думается мне, будто они фальшивые. И страшно мне. Должно, нездоров.

– Что говорить, все под богом ходим... Ох-тех-те... – проговорила Варвара и покачала головой. – Надо б об этом подумать бы, Петрович... Не ровен час, что случится, человек ты немолодой. Помрешь, и гляди, без тебя б внука не обидели. Ой, боюсь, обидят они Никифора, обидят! Отца, считай так, уже нет, мать молодая, глупая... Записал бы ты на него, на мальчишку-то, хоть землю, Бутёкино-то это, Петрович, право! Подумай! – продолжала убеждать Варвара. – Мальчик-то хорошенький, жалко! Вот завтра поезжай и напиши бумагу. Чего ждать?

– А я забыл про внука-то... – сказал Цыбукин. – Надо поздороваться. Так ты говоришь: мальчик ничего? Ну что ж, пускай растет. Дай бог!

Он отворил дверь и согнутым пальцем поманил к себе Липу. Она подошла к нему с ребенком на руках.

– Ты, Липынька, если что нужно, спрашивай, – сказал он. – И что захочешь, кушай, мы не жалеем, была бы здорова... – Он перекрестил ребенка. – И внука береги. Сына нет, так внучек остался.

Слезы потекли у него по щекам; он всхлипнул и отошел. Немного погодя он лег спать и уснул крепко, после семи бессонных ночей.

VII

Старик уезжал ненадолго в город. Кто-то рассказал Аксинье, что он ездил к нотариусу, чтобы писать завещание, и что Бутёкино, то самое, на котором она жгла кирпич, он завещал внуку Никифору. Об этом ей сообщили утром, когда старик и Варвара сидели около крыльца под березой и пили чай. Она заперла лавку с улицы и со двора, собрала все ключи, какие у нее были, и швырнула их к ногам старика.

– Не стану я больше работать на вас! – крикнула она громко и вдруг зарыдала. – Выходит, я у вас не невестка, а работница! Весь народ смеется: «Гляди, – говорят, – Цыбукины какую себе работницу нашли!» Я у вас не нанималась! Я не нищая, не хамка какая, есть у меня отец и мать.

Она, не утирая слез, устремила на старика глаза, залитые слезами, злобные, косые от гнева; лицо и шея у нее были красны и напряжены, так как кричала она изо всей силы.

– Не желаю я больше служить! – продолжала она. – Замучилась! Как работа, как в лавке сидеть день-деньской, по ночам шмыгать за водкой – так это мне, а как землю дарить – так это каторжанке с ее чертенком! Она тут хозяйка, барыня, а я у ней прислуга! Все отдайте ей, арестантке, пусть подавится, я уйду домой! Найдите себе другую дуру, ироды окаянные!

Старик ни разу в жизни не бранил и не наказывал детей и не допускал даже мысли, чтобы кто-нибудь из семейства мог говорить ему грубые слова или держать себя непочти-

тельно; и теперь он очень испугался, побежал в дом и спрятался там за шкафом. А Варвара так оторопела, что не могла подняться с места, а только отмахивалась обеими руками, точно оборонялась от пчелы.

– Ой, что ж это, батюшки? – бормотала она в ужасе. – Что ж это она кричит? Ох-тех-те... Народ-то услышит! Потихе бы... Ой, потихе бы!

– Отдали каторжанке Бутёкино, – продолжала Акси́нья кричать, – отдайте ей теперь все, – мне от вас ничего не надо! Провались вы! Все вы тут одна шайка! Нагляделась я, будет с меня! Грабили и прохожих, и проезжих, разбойники, грабили старого и малого! А кто водку продавал без патента? А фальшивые деньги? Понабили себе сундуки фальшивыми деньгами – и теперь уж я не нужна стала!

Около настежь открытых ворот уже собралась толпа и смотрела во двор.

– Пускай народ глядит! – кричала Акси́нья. – Я вас осрамлю! Вы у меня сгорите со срама! Вы у меня в ногах наваяетесь! Эй, Степан! – позвала она глухого. – Поедем в одну минуту домой! К моему отцу, к матери поедем, с арестантами я не хочу жить! Собирайся!

Во дворе на протянутых веревках висело белье; она срывала свои юбки и кофточки, еще мокрые, и бросала их на руки глухому. Потом, разъяренная, она металась по двору около белья, срывала все, и то, что было не ее, бросала на землю и топтала.

– Ой, батюшки, уймите ее! – стонала Варвара. – Что же она такое? Отдайте ей Бутёкино, отдайте ради Христа небесного!

– Ну, ба-а-ба! – говорили у ворот. – Вот так ба-а-ба! Расходилась – страсть!

Акси́нья вбежала в кухню, где в это время была стирка. Стирала одна Липа, а кухарка пошла на реку полоскать белье. От корыта и котла около плиты шел пар, и в кухне было душно и тускло от тумана. На полу была еще куча немытого белья, и около него на скамье, задирая свои красные ножки, лежал Никифор, так что если бы он упал, то не ушибся бы. Как раз, когда Акси́нья вошла, Липа вынула из кучи ее сорочку и положила в корыто, и уже протянула руку к большому ковшу с кипятком, который стоял на столе...

Отдай сюда! – проговорила Акси́нья, глядя на нее с ненавистью, и выхватила из корыта сорочку. – Не твое это дело мое белье трогать! Ты арестантка и должна знать свое место, кто ты есть!

Липа глядела на нее, оторопев, и не понимала, но вдруг уловила взгляд, какой та бросила на ребенка, и вдруг поняла, и вся помертвела...

– Взяла мою землю, так вот же тебе!

Сказавши это, Акси́нья схватила ковш с кипятком и плеснула на Никифора.

После этого послышался крик, какого еще никогда не слыхали в Уклееве, и не верилось, что небольшое, слабое существо, как Липа, может кричать так. И на дворе вдруг стало тихо. Акси́нья прошла в дом, молча, со своей прежней наивной улыбкой... Глухой все ходил по двору, держа в охапке белье, потом стал развешивать его опять, молча, не спеша. И пока не вернулась кухарка с реки, никто не решался войти в кухню и взглянуть, что там.

VIII

Никифора свезли в земскую больницу, и к вечеру он умер там. Липа не стала дожидаться, когда за ней придут, а завернула покойника в одеяльце и понесла домой.

Больница, новая, недавно построенная, с большими окнами, стояла высоко на горе; она вся светила от заходившего солнца и, казалось, горела внутри. Внизу был поселок. Липа спустилась по дороге и, не доходя до поселка, села у маленького пруда. Какая-то женщина привела лошадь поить, и лошадь не пила.

– Чего же тебе еще? – говорила женщина тихо, в недоумении. – Чего же тебе?

Мальчик в красной рубаше, сидя у самой воды, мыл отцовские сапоги. И больше ни души не было видно ни в поселке, ни на горе.

– Не пьет... – сказала Липа, глядя на лошадь.

Но вот женщина и мальчик с сапогами ушли, и уже никого не было видно. Солнце легло спать и укрылось багряной золотой парчой, и длинные облака, красные и лиловые, сторожили его покой, протянувшись по небу. Где-то далеко, неизвестно где, кричала выпь, точно корова, запертая в сарае, заунывно и глухо.

Крик этой таинственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет. Наверху в больнице, у самого пруда в кустах, за поселком и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка и все сбивалась со счета, и опять начинала. В пруде сердито, надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова: «И ты такова! И ты такова!» Какой был шум! Казалось, что все эти твари кричали и пели нарочно, чтобы никто не спал в этот весенний вечер, чтобы все, даже сердитые лягушки, дорожили и наслаждались каждой минутой: ведь жизнь дается только один раз!

На небе светил серебряный полумесяц, было много звезд. Липа не помнила, как долго она сидела у пруда, но когда встала и пошла, то в поселке все уже спали и не было ни одного огня. До дома было, вероятно, верст двенадцать, но сил не хватало, не было соображения, как идти; месяц блестел то спереди, то справа, и кричала все та же кукушка, уже осипшим голосом, со смехом, точно дразнила: ой, гляди, собьешься с дороги! Липа шла быстро, потеряла с головы платок... Она глядела на небо и думала о том, где теперь душа ее мальчика: идет ли следом за ней или косится там вверху, около звезд, и уже не думает о своей матери? О, как одиноко в поле ночью, среди этого пения, когда сам не можешь петь, среди непрерывных криков радости, когда сам не можешь радоваться, когда с неба смотрит месяц, тоже одинокий, которому все равно – весна теперь или зима, живы люди или мертвы... Когда на душе горе, то тяжело без людей. Если бы с ней была мать, Прасковья, или Костыль, или кухарка, или какой-нибудь мужик!

– Бу-у! – кричала выпь. – Бу-у!

И вдруг ясно послышалась человеческая речь:

– Запрягай, Вавила!

Впереди, у самой дороги, горел костер; пламени уже не было, светились одни красные уголья. Слышно было, как жевали лошади. В потемках обозначились две подводы – одна с бочкой, другая пониже, с мешками, и два человека: один вел лошадь, чтобы запрягать, другой стоял около костра неподвижно, заложив назад руки. Заворчала около подводы собака. Тот, который вел лошадь, остановился и сказал:

– Словно кто идет по дороге.

– Шарик, молчи! – крикнул другой на собаку.

И по голосу можно было понять, что этот другой был старик. Липа остановилась и сказала:

– Бог в помощь!

Старик подошел к ней и ответил не сразу:

– Здравствуй!

– Ваша собачка не порвет, дедушка?

– Ничего, иди. Не тронет.

– Я в больнице была, – сказала Липа, помолчав. – Сыночек у меня там помер. Вот домой несу.

Должно быть, старику было неприятно слышать это, потому что он отошел и проговорил торпливо:

– Это ничего, милая. Божья воля. Копаешься, парень! – сказал он, обернувшись к спутнику. – Ты бы поживей.

– Твоей дуги нету, – сказал парень. – Не видать.

– Прямой ты Вавила.

Старик поднял уголек, раздул – осветились только его глаза и нос, потом, когда отыскивали дугу, подошел с огнем к Липе и взглянул на нее; и взгляд его выражал сострадание и нежность.

– Ты мать, – сказал он. – Всякой матери свое дите жалко.

И при этом вздохнул и покачал головой. Вавила бросил что-то на огонь, притоптал – и тотчас же стало очень темно; видение исчезло, и по-прежнему было только поле, небо со звездами, да шумели птицы, мешая друг другу спать. И коростель кричал, казалось, на том самом месте, где был костер.

Но прошла минута, и опять были видны и подводы, и старик, и длинный Вавила. Телеги скрипели, выезжая на дорогу.

– Вы святые? – спросила Липа у старика.

– Нет. Мы из Фирсанова.

– Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягчило. И парень тихий. Я и подумала: это, должно, святые.

– Тебе далече ли?

– В Уклеево.

– Садись, подвезем до Кузьменок. Тебе там прямо, нам влево.

Вавила сел на подводу с бочкой, старик и Липа сели на другую. Поехали шагом, Вавила впереди.

– Мой сыночек весь день мучился, – сказала Липа. – Глядит своими глазочками и молчит, и хочет сказать и не может. Господи батюшка, царица небесная! Я с горя так все и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются, а зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем?

– А кто ж его знает! – ответил старик.

Проехали с полчаса молча.

– Всего знать нельзя, зачем да как, – сказал старик. – Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способно; так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтоб прожить, столько и знает.

– Мне, дедушка, идти пешком легче. А теперь сердце трясется.

– Ничего. Сиди.

Старик зевнул и перекрестил рот.

– Ничего... – повторил он. – Твое горе с полгоря. Жизнь долгая – будет еще и хорошего, и дурного, всего будет. Велика матушка Россия! – сказал он и поглядел в обе стороны. – Я во всей России был и все в ней видел, и ты моему слову верь, милая. Будет и хорошее, будет и дурное. Я ходоком – в Сибирь ходил, и на Амуре был, и на Алтае, и в Сибирь переселился, землю там пахал, соскучился потом по матушке России и назад вернулся в родную деревню. Назад в Россию пешком шли; и помню, плывем мы на пароме, а я худой-худой, рваный весь, босой, озяб, сосу корку, а проезжий господин тут какой-то на пароме, – если помер, то царство ему небесное, – глядит на меня жалостно, слезы текут. «Эх, – говорит, – хлеб твой черный, дни твои черные...» А домой приехал, как говорится, ни кола ни двора; баба была, да в Сибири осталась, закопали. Так, в батраках живу. А что ж? Скажу тебе: потом было и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милая, еще бы годочков двадцать пожил: значит, хорошего было больше. А велика матушка Россия! – сказал он и опять посмотрел в стороны и оглянулся.

– Дедушка, – спросила Липа, – когда человек помрет, то сколько дней его душа потом по земле ходит?

– А кто ж его знает! Вот спросим Вавилу – он в школу ходил. Теперь всему учат. Вавила! – позвал старик.

– А!

– Вавила, как человек помрет, сколько дней его душа по земле ходит?

Вавила остановил лошадь и тогда уж ответил:

– Девять ден. Мой дядя Кирилла помер, так его душа в избе нашей жила потом тринадцать ден.

– Почему ты знаешь?

– Тринадцать ден в печке стучало.

– Ну ладно. Трогай, – сказал старик, и видно было, что ничему этому он не верил.

Около Кузьменок подводы свернули на шоссе, а Липа пошла дальше. Уже светало. Когда она спускалась в овраг, то уклевские избы и церковь прятались в тумане. Было холодно, и казалось ей, что кричит все та же кукушка.

Когда Липа вернулась домой, то скотины еще не выгоняли; все спали. Она сидела на крыльце и ждала. Первый вышел старик; он сразу, с первого взгляда понял, что произошло, и долго не мог выговорить ни слова и только чмокал губами.

– Эх, Липа, – проговорил он, – не уберегла ты внучка...

Разбудили Варвару. Она всплеснула руками и зарыдала и тотчас же стала убирать ребенка.

– И мальчик-то был хорошенечкий... – приговаривала она... – Ох-тех-те... Один был мальчик, и того не уберегла, глупенькая...

Служили панихиду утром и вечером. На другой день хоронили, и после похорон гости и духовенство ели много и с такою жадностью, как будто давно не ели. Липа прислуживала за столом, и батюшка, подняв вилку, на которой был соленый рыжик, сказал ей:

– Не горюйте о младенце. Таковых есть царствие небесное.

И только когда все разошлись, Липа поняла как следует, что Никифора уже нет и не будет, поняла и зарыдала. И она не знала, в какую комнату идти ей, чтобы рыдать, так как чувствовала, что в этом доме после смерти мальчика ей уже нет места, что она тут ни при чем, лишняя; и другие это тоже чувствовали.

– Ну, что голосишь там? – крикнула вдруг Акси́нья, показываясь в дверях; по случаю похорон она была одета во все новое и напудрилась. – Замолчи!

Липа хотела перестать, но не могла, и зарыдала еще громче.

– Слышишь? – крикнула Акси́нья и в сильном гневе топнула ногой. – Кому говорю? Пошла вон со двора, и чтоб ноги твоей тут не было, каторжанка! Вон!

– Ну, ну, ну!.. – засуетился старик. – Аксюта, утомонись, матушка... Плачет, понятное дело... дите померло...

– Понятное дело... – передразнила его Акси́нья. – Пускай переночует, а завтра чтобы и духу ее тут не было! Понятное дело!.. – передразнила она еще раз и, засмеявшись, направилась в лавку.

На другой день рано утром Липа ушла в Торгуево к матери.

IX

В настоящее время крыша на лавке и дверь выкрашены и блестят как новые, на окнах по-прежнему цветет веселенькая герань, и то, что происходило три года назад в доме и во дворе Цыбукина, уже почти забыто.

Хозяином считается, как и тогда, старик Григорий Петрович, на самом же деле все перешло в руки Акси́ньи; она и продает, и покупает, и без ее согласия ничего нельзя сделать. Кирпичный завод работает хорошо; оттого, что требуют кирпич на железную дорогу, цена его дошла до двадцати четырех рублей за тысячу; бабы и девки возят на станцию кирпич и нагружают вагоны и получают за это по четвертаку в день.

Аксинья вошла в долю с Хрымиными, и их фабрика теперь называется так: «Хрымины Младшие и Ко». Открыли около станции трактир, и уже играют на дорогой гармонике не на фабрике, а в этом трактире, и сюда часто ходит начальник почтового отделения, который тоже завел какую-то торговлю, и начальник станции тоже. Глухому Степану Хрымины Младшие подарили золотые часы, и он то и дело вынимает их из кармана и подносит к уху.

В селе говорят про Аксинью, что она забрала большую силу; и правда, когда она утром едет к себе на завод, с наивной улыбкой, красивая, счастливая, и когда потом распоряжается на заводе, то чувствуется в ней большая сила. Ее все боятся и дома, и в селе, и на заводе. Когда она приходит на почту, то начальник почтового отделения вскакивает и говорит ей:

– Покорнейше прошу садиться, Ксения Абрамовна!

Один помещик, щеголь, в поддевке из тонкого сукна и в высоких лакированных сапогах, уже пожилой, как-то, продавая ей лошадь, так увлекся разговором с ней, что уступил ей, сколько она пожелала. Он долго держал ее за руку и, глядя ей в ее веселые, лукавые, наивные глаза, говорил:

– Для такой женщины, как вы, Ксения Абрамовна, я готов сделать всякое удовольствие. Только скажите, когда мы можем увидеться, чтобы нам никто не помешал?

– Да когда вам угодно!

И после этого пожилой щеголь заезжает в лавочку почти каждый день, чтобы выпить пива. А пиво ужасное, горькое, как полынь. Помещик мотает головой, но пьет.

Старик Цыбукин уже не вмешивается в дела. Он не держит при себе денег, потому что никак не может отличить настоящих от фальшивых, но молчит, никому не говорит об этой своей слабости. Он стал как-то забывчив, и если не дать ему поесть, то сам он не спросит; уже привыкли обедать без него, и Варвара часто говорит:

– А наш вчерась опять лег не евши.

И говорит равнодушно, потому что привыкла. Почему-то и летом и зимой одинаково он ходит в шубе и только в очень жаркие дни не выходит, сидит дома. Обыкновенно, надевши шубу и подняв воротник, запахнувшись, он гуляет по деревне, по дороге на станцию, или сидит с утра до вечера на лавочке около церковных ворот. Сидит и не пошевеливается. Прохожие кланяются ему, но он не отвечает, так как по-прежнему не любит мужиков. Когда его спрашивают о чем-нибудь, то он отвечает вполне разумно и вежливо, но кратко.

В селе идут разговоры, будто невестка выгнала его из собственного дома и не дает ему есть и будто он кормится подающими; одни рады, другие жалеют.

Варвара еще больше пополнела и побелела, и по-прежнему творит добрые дела, и Аксинья не мешает ей. Варенья теперь так много, что его не успевают съесть до новых ягод; оно засахаривается, и Варвара чуть не плачет, не зная, что с ним делать.

Об Анисиме стали забывать. Как-то пришло от него письмо, написанное в стихах, на большом листе бумаги в виде прошения, все тем же великолепным почерком. Очевидно, и его друг Самородов отбывал с ним вместе наказание. Под стихами была написана некрасивым, едва разборчивым почерком одна строчка: «Я все болею тут, мне тяжело, помогите ради Христа».

Однажды – это было в ясный осенний день, перед вечером – старик Цыбукин сидел около церковных ворот, подняв воротник своей шубы, и виден был только его нос и козырек от фуражки. На другом конце длинной лавки сидел подрядчик Елизаров и рядом с ним школьный сторож Яков, старик лет семидесяти, без зубов. Костыль и сторож разговаривали.

– Дети должны кормить стариков, поить... чти отца твоего и мать, – говорил Яков с раздражением, – а она, невестка-то, выгнала свекра из цобственного дома. Старику ни поесть, ни попить – куда пойдет? Третий день не евши.

– Третий день! – удивился Костыль.

– Вот так сидит, все молчит. Ослаб. А чего молчать? Подать в суд, – ее б в суде не похвалили.

– Кого в суде хвалили? – спросил Костыль, не расслышав.

– Чего?

– Баба ничего, старательная. В ихнем деле без этого нельзя... без греха то есть...

– Из цобственного дома, – продолжал Яков с раздражением. – Наживи свой дом, тогда и гони. Эка, нашлась какая, подумаешь! Я-аз-ва!

Цыбукин слушал и не шевелился.

– Собственный дом или чужой, все равно, лишь бы тепло было да бабы не ругались... – сказал Костыль и засмеялся. – Когда в молодых летах был, я очень свою Настасью жалел. Бабочка была тихая. И, бывало, все: «Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, дом! Купи, Макарыч, лошадь!» Умирала, а все говорила: «Купи, Макарыч, себе дрожки-бегунцы, чтоб пеши не ходить». А я только пряники ей покупал, больше ничего.

– Муж-то глухой, глупый, – продолжал Яков, не слушая Костыля, – так, дурак дураком, все равно что гусь. Нешто он может понимать? Ударь гуся по голове палкой – и то не поймет.

Костыль встал, чтобы идти домой на фабрику. Яков тоже встал, и оба пошли вместе, продолжая разговаривать. Когда они отошли шагов на пятьдесят, старик Цыбукин тоже встал и поплелся за ними, ступая нерешительно, точно по скользкому льду.

Село уже тонуло в вечерних сумерках, и солнце блестело только вверху на дороге, которая змеей бежала по скату снизу вверх. Возвращались старухи из леса и с ними ребята; несли корзины с волнушками и груздями. Шли бабы и девки толпой со станции, где они нагружали вагоны кирпичом, и носы и щеки под глазами у них были покрыты красной кирпичной пылью. Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава богу, кончился и можно отдохнуть. В толпе была ее мать, поденщица Прасковья, которая шла с узелком в руке и, как всегда, тяжело дышала.

– Здравствуй, Макарыч! – сказала Липа, увидев Костыля. – Здравствуй, голубчик!

– Здравствуй, Липынька! – обрадовался Костыль. – Бабочки, девочки, полюбите богатого плотника! Хо-хо! Деточки мои, деточки (Костыль всхлипнул). Топорики мои любезные.

Костыль и Яков прошли дальше, и было слышно, как они разговаривали. Вот после них встретился толпе старик Цыбукин, и стало вдруг тихо-тихо. Липа и Прасковья немножко отстали, и, когда старик поравнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала:

– Здравствуйте, Григорий Петрович!

И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть.

Солнце уже совсем зашло; блеск его погас и вверху на дороге. Становилось темно и прохладно. Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились.

1899

Александр Иванов Стереоскоп Сумеречный рассказ

I

Я разломал свой стереоскоп. В нем были не простые оптические стекла; в нем были как бы двери в некий мир, недоступный для нас; и вот я наглухо завалил таинственный вход. Он был чьим-то великим изобретением, но чьим, я не знаю и никогда не буду знать. Мне отворены были двери в те области, куда человеку недозволено *проникать*, куда он может лишь *заглядывать*; для меня исчезала непереступаемая грань между тем миром и нашим. Но в ту памятную ночь в порыве ужаса я разбил молотком линзы стереоскопа, чтобы положить вновь меж собой и его страшным миром прежнюю грань.

Заметил ли ты, что фотографические снимки обладают странными чарами? Они все, простые и двойные для стереоскопа (эти бывают на бумаге и прозрачные на стекле), загадочно влекут к себе; и тем сильнее, чем старее фотография. Глядит с них какой-то мир, особый, в себе замкнутый; он безмолвен, мертв, застыл и недвижим; в нем нет живых красок, царит лишь один бурый унылый цвет и его оттенки, словно все выцвело. Это – призрачный мир прошлого, царство теней минувшего. То, что ты видишь на бледном снимке, было когда-то на одно только мгновение и в нашем живом мире. Потом наш мир изжил это мгновение безвозвратно. И вот остался этот двойник его, затаившийся в маленькой бумажной или стеклянной пластинке, застывший, умолкший и выцветший. На тебя смотрят со старых фотографий призрачные двойники того, что минуло навсегда, и от них веют таинственные грусть и тихая жуткость. И чем старее фотография, тем глубже ее чары.

Так, рассматривая старые снимки, заглядываем мы в их тайный мир. И мы только *заглядываем* туда, но никому невозможно туда *проникнуть*. Так я думал прежде; но теперь, когда я смотрю на обломки стереоскопа, лежащие здесь на столе, я знаю, что это возможно. И вместе с тем знаю я, что человек не должен проникать туда, хоть и может. Не следует живому тревожить тот мертвый мир застывшего своим вторжением в его недра: тогда в тех недрах нарушаются таинственные равновесия, тревожится их священный и старый покой; и дерзкий пришелец платится тогда за вторжение тяжким ужасом. Лишь в порыве такого ужаса, лишь спасаясь от него, я и разбил в ту ночь свой стереоскоп.

Он попал мне в руки так неожиданно и служил так недолго. Раз я шел по Г-ой улице. Был сильный мороз, утро встало все в белом; было седое небо и бледно-голубой воздух. Бесчисленные и белые зимние дымы подымались из труб и стремились стоять прямо, но режущий восточный ветер опрокидывал их, разрывал на куски, и весь город грозно курился. Дойдя до аукционного склада, я остановился перед его большими окнами; это делал я не раз и раньше. Здесь на низких и широких подоконниках было наставлено множество разных предметов вплотную и без всякого порядка.

На иных виднелись билетки с какими-то цифрами, должно быть, их ценой, на других их не было; но, видно, все это давно уже залежалось и было выставлено для продажи.

Мне нравилось смотреть на этот хлам, на эти груды утвари – по большей части старомодной, давно вышедшей из употребления. Это были все старые вещи, попавшие теперь в склад, но когда-то кому-то принадлежавшие; жизнь минувших людей, когда-то окружавшая их, словно впиталась в них и веяла на меня теперь тихим и грустным дуновением. В больших

раковинах, которые можно видеть на письменных столах в качестве пресс-папье или украшений, вечно живет, затаившись в их глубине, минувший шум родного моря, где они лежали некогда. Также миновала давно и та жизнь, на дне которой долго пребывали когда-то эти старые вещи, и вот здесь на окнах склада от них исходил тихий шелест и шорох прошедшего. Странной формы подсвечники, старинные лампы, чернильницы, пепельницы, поношенные бинокли и зрительные трубы; даже остов огромного морского рака в стеклянном футляре, причудливый, побелевший от времени и никому ненужный... Все это видал я уж не первый раз в этих широких окнах; но теперь я заметил один предмет, не попадавшийся до этого на мои глаза: то был небольшой ящик из полированного дерева с двумя возвышениями в виде четырехгранных призм. Я присмотрелся; он оказался стереоскопом; в призматических трубках большие выпуклые линзы странно отражали свет. Тут мне пришло в голову, что я давно уж хотел завести себе стереоскоп.

Рассматривать фотографии в стереоскопе – не простая ли это детская забава? Но вникни: в этом кроется странное волшебство, и душа радостно отдается его чарам. Вот – снимок; в нем мир застывших призраков; ты вставляешь его в стереоскоп, смотришь, и вот мир этот стал словно ближе к тебе. Плоский снимок – углубился, получил таинственную перспективу; ты уж не просто заглядываешь, ты словно проникаешь в глубины мира призраков; ты еще не проник, но уж есть намерение на это проникновение, уж сделан первый шаг его. И чувствуешь, как выросли, как усилились загадочные жуть и грусть, веющие от снимка: они стали тебе словно ближе.

Впечатление, когда я в первый раз заглянул в линзы стереоскопа, не изгладится во мне до смерти. Это было очень давно, в детстве, знакомый отца принес нам его. «Придержи рукою, – сказал он мне, – и смотри сюда». Я заглянул, и мне открылась одна из областей того странного, не нашего мира. То было (как я узнал потом) изображение так называемых Ибсамбульских Колоссов. Гигантские фигуры Рамзеса, высеченные в скале, высились предо мною буроватыми призраками, углубленно и выпукло выделялись в воздухе; и воздух был такой же безжизненный и фотографический, как и они сами. Мертвенный двойник араба, когда-то жившего на земле, сидел на огромной руке Колосса. Перспектива, трехмерность этой недоступной области безотчетно и мгновенно поразила воображение: хотелось самому взобраться на исполина, ходить по его каменным и призрачным коленям, проникнуть в углубления, скрытые от глаз выступами гигантских рук, обойти сзади сидящего араба. И как все было там безмолвно, как чудовищно неподвижно! Фигура когда-то живого араба была так же навеки неизменна, как каменные лица Фараона с заостренной, выдавшейся вперед бородой. И как грустно все было там и как жутко. Потом пред нами проходили одна за другой все новые картины: статуя Мемнона, виды Рима, гробница Наполеона, площадь в Париже... И все шире открывался пред нами, детьми, волшебный мир стереоскопа. Он был нов для нас и вместе с тем словно знаком, потому что странно напоминал наши детские сны. И весь день мы не переставали думать о нем, и вечером в своей детской вспоминали и делились впечатлениями, при этом мы говорили тихим голосом, ибо грусть и жуть тех таинственных стран уже неизгладимо залегли в наши души.

Я смотрел со старым волнением на небольшой прибор, затерявшийся в горах аукционного хлама. Он был старинной конструкции и, мне казалось, был похож на тот первый, виденный в детстве. Я раздумывал, что можно будет купить, если недорого; ноги стыли на морозе и побуждали к решимости. Я отворил дверь и вошел; там было обширное помещение, сплошь заставленное вешалками с шубами и другим заложенным платьем; в углах была наставлена старая утварь, как на окнах; по стенам висели картины и портреты. За прилавком сидели два человека; один из них вопросительно поднялся мне навстречу. «У вас выставлен стереоскоп, – начал я, – ведь продается? Вот здесь». Человек подошел к окну и достал его с подоконника. Он глядел на билетик, наклеенный на стенке стереоскопа. «Два рубля», – сказал он и подал его мне.

Прибор показался мне неожиданно тяжелым; было впечатление, точно внутри его было что-то постороннее. Линзы тоже обращали внимание: большая, необыкновенно выпуклая, странно отражала свет. Я поворачивал его во все стороны. По всему видно было, что он уже старый и подержанный; полированное дерево было сильно поцарапано, и кое-где глянec даже совсем сошел. Потом одна особенность бросилась в глаза: ящик был глухой, не было обычных щелей, куда вставляют снимки; задняя стенка была из матового стекла, но никаких признаков отверстий около не было, и дерево всюду было плотно пригнано. Я сказал об этом продавцу; он повертел стереоскоп в руках, даже постучал пальцем по стенкам, но объяснить ничего не мог. Он поднес затем прибор к своим глазам и объявил, что внутри уже вставлен снимок. Я заглянул в свою очередь и увидел изображение одного из залов Эрмитажа; я сразу же узнал зал Зевса Олимпийца. Давно знакомое волшебство повеяло в душу; и оно было особенно сильно: удивительно была полна и углублена перспектива в этом старом стереоскопе; по-видимому, линзы были высокосоввершенны и расположены мастерски. Я понял, что прозрачный снимок был наглухо вделан в ящик и плотно прилегал к задней стенке, хотя снаружи чрез матовое стекло его не было видно. Странен и нелеп показался мне этот каприз неизвестного оптика предназначить весь прибор только для одного снимка. Это останавливало меня; я снова высказал это продавцу, но он не был любезен и намекнул, что не очень озабочен, куплю ли я или не куплю. Я подумал, что заднюю стенку можно как-нибудь и переделать в случае нужды; вынул деньги, и покупка состоялась.

Я вернулся домой уже поздно вечером. На стенных часах у соседа (он нанимал комнату рядом у моей квартирной хозяйки) пробило десять, когда я зажигал лампу на письменном столе. Некоторое время я сидел в кресле, отдыхая и рассеянно прислушиваясь к звукам, доносившимся невнятно с конца коридора из кухни, где старая Марья перед сном перемывала посуду. Потом встал и развернул свою покупку, еще холодную с мороза. И опять показалось мне, что стереоскоп смутно напоминает тот первый, виденный в далеком детстве. Я поднес его к лампе и заглянул через линзы в зал мертвого Эрмитажа. Снимок был сделан, должно быть, уже очень давно – это я заключил по некоторым признакам, которые трудно передать; но тут был виден особый способ фотографирования, какой теперь не употребляется. Потом мне почудилась в верхнем правом углу снимка будто какая-то дата. Стереоскоп был тяжел, руки, держа его, дрожали; тогда я положил один на другой три толстых словаря, поставил его сверху на них, направил против света лампы, а сам сел за стол и, удобно облокотясь, приблизил глаза к линзам. Цифры даты стали виднее, но все же были неясны; я напряг зрение, и мне показалось, там стоит: «21 апреля 1877» или «1879». Неужели это отмечен день, когда был сделан этот поблекший снимок? Ведь и по виду своему он уже сделан давно; быть может, тогда же, когда и сам стереоскоп. «Неужели так давно?» – спрашивал я радостно.

Потом совершился тот невероятный переход в тайные области стереоскопа. Я сидел, опираясь локтями на стол, и глядел в линзы. Пред глазами моими лежал хорошо знакомый зал Эрмитажа, но вместе с тем немного чужой и страшный, какими порой являются во снах знакомые нам покои и помещения, двойник этого зала – несколько уменьшенный и фотографического цвета. Росло старое волнение, и старое волшебство все больше овладевало мною; хотелось пройтись по этому мертвому залу, бродить между статуй и саркофагов; хотелось проникнуть в соседний зал, что тихо глядел в высокую дверь. Вдруг почудилось, будто слабый запах керосина от моей лампы исчезает и сменяется каким-то другим, уже где-то мною слышанным; скоро я догадался, что он напоминает особый запах, присущий нижним залам Эрмитажа. Я все смотрел не отрываясь. Призрачные очертания зала и всех предметов в нем стали расти; зал словно приближался ко мне, принимал меня в себя, обступая меня своими стенами сзади, справа, слева; мне казалось уже: я могу их увидеть, стоит мне повернуть голову. И вот этот зал минувшего Эрмитажа сравнялся в размерах с залом Эрмитажа настоящего. Внезапно я осознал, что не сижу уж, а стою на полу, локти не опираются более на стол, и я свободно

опустил руки. Наконец исчезло всякое сомнение в свершившемся волшебстве, я стоял внутри призрачного зала, который доселе видел лишь чрез линзы издали. Исчезла моя комната, стол, лампа. Исчез и сам стереоскоп: я находился внутри его.

Была мертвая тишина; были слышны лишь взволнованные удары моего сердца да тиканье часов в кармане жилета. Я сделал несколько шагов вперед, и странный звенящий звук родился у меня под ногами и умер, отозвавшись где-то в углу у потолка; этот звук был мне знаком: так звучат под шагами каменные плиты, которыми выложен пол нижних залов Эрмитажа; только здесь он был тусклый, как сами стены и все в этом мире выцветших призраков. Я взглянул направо: из окон, помещающихся высоко у самого потолка, лился в зал мертвенный свет; виднелись чрез них двор, крыши и бесцветное фотографическое небо; в то мгновение, что застыло здесь, была ясная солнечная погода. Я взглянул налево: статуя Зевса знакомо высилась с орлом у ног. Я был недавно в зале Олимпийца, в настоящем зале, и вспомнил теперь внезапно, что вот за тем выступом стены должен стоять бюст во фригийской шапке. Я прошел немного вперед, будя тускло-шепчущее эхо, и заглянул за выступ: бюст стоял там, стоял минувший его двойник. Я дотронулся рукою до него, он был холоден и тверд: призрак прошлого был телесен. В душе росла тихая жуть. С неизъяснимым чувством двигался я посреди урн, статуй и саркофагов; все было знакомо и вместе чуждо.

Вдруг я вздрогнул, почувствовав, что я не один. Углом глаза я уловил темную человеческую фигуру, стоявшую позади меня, и это была не статуя. Я быстро обернулся: какой-то человек в темном сюртуке стоял неподвижно, устремив взор на стену и странно откинув руку, рядом с ним стоял какой-то высокий предмет, то был фотографический аппарат на треножнике. Я замер в немом ужасе. Прошло несколько секунд; он не шевельнулся, не качнулся, не сделал ни одного жеста; он стоял так же безмолвно и недвижно, все в той же странной позе, с тем же выражением лица. Тогда-то я рассмотрел, что и он был лишь призрак, поблекший и застывший, как и все вокруг него. Подавляя жуть, я подошел к нему и заглянул в лицо; минувшие черты его были неподвижны; проходили секунды, минуты, одна за другой, глаза и губы его хранили все ту же мертвую неизменность. Взгляд мой упал на аппарат на треножнике, и я увидел теперь, что он о двух объективах. «Стереоскопическая камера», – подумал я. И мгновенно меня осенило: ведь это тот самый человек, что изготовил снимок с Зевсовой залы, ведь это его печальный двойник! Вот он стоит молча, выцветший, но все же телесный призрак, и снимает своим аппаратом этот минувший зал; уже двадцать восемь лет он снимает его, не шелохнувшись, и вечно будет снимать! Все, что в тот далекий миг было вокруг фотографа, и он сам, таинственно повторилось на тонкой стеклянной пластинке и стало миром, затаенным в глубинах стереоскопа.

Мне хотелось прикоснуться к этой тихой фигуре, но почему-то я не решился. Я обошел ее и направился в смежную комнату. Там был почти сумрак; смутно различил я и опознал знакомые статуи, сидящие здесь. Большое окно в глубине бедно пропускало свет буроватого оттенка, и через него, как сновидение, глядела стена Зимнего дворца. Новая человеческая фигура неясно рисовалась у окна; проходя, мельком видел я, что это двойник капельдинера, стоявший неподвижно, обернувшись спиной ко мне. Мутный свет из окна странно отражался на лысой голове.

Так началось мое хождение по этим безжизненным покоям стереоскопного мира, по невозвратным залам Эрмитажа, давно уплывшего в минувшее, как умершее и застывшее мгновение. Из зала переходил я в зал, и тусклое эхо вторило моим шагам в углах и у потолка, замирало сзади меня каждый раз, как я приближался к дверям в новую комнату, и зарождалось вновь впереди. И всюду был разлит знакомый характерный запах нижнего Эрмитажа. На пути попадались здесь и там немые и недвижные фигуры людей, похожие на вылинявшие восковые куклы, то были прошедшие посетители и сторожа этих невозвратных залов. Они хранили неизменно каждый свою позу, вперив стеклянные глаза в одну вечную точку. Порой я ловил

эти взоры на себе или встречал их в упор; тогда я вздрагивал. Они стояли, и мертвенный свет лился на них. От них струился мне в душу таинственный страх и тихая грусть.

Скоро, однако, я освоился с этим страхом и научился подавлять его. Я стал привыкать к безжизненным образам двойников и, проходя мимо них, принуждал себя не уклоняться в сторону, а спокойно заглядывать в их лица. До одного из них я даже решился дотронуться; то был высокий пожилой человек в одежде покроя, какого теперь уже не носят; он стоял перед шкапом с древним оружием и утварью, держал в руке маленькую книжку и смотрел в нее. Пальцы мои скользили по шероховатому сукну воротника и коснулись шеи призрака. Кожа не была холодной, как у мертвеца, в ней хранилась какая-то странная тепловатость; это была как бы выцветшая теплота живого тела... Я отдернул руку. Книжка, которую он держал, был каталог «Древностей Босфора», старое издание; я осторожно перевернул один лист и услышал слабый шелест минувшей бумаги. Перед другой фигурой я вздрогнул, почуяв в ней что-то знакомое. В этом узком, с гулким деревянным полом зале Босфора, но настоящем, видывал я прежде старика-капельдинера и разговаривал с ним иногда; он исчез несколько лет назад, должно быть умер. И вот теперь в унылом полумраке прошлого зала Босфора узнал я в поблекшей фигуре старого знакомого. Только двойник, сидевший предо мной, был гораздо моложе; он не был еще седым стариком; таким я встретил его впервые, когда давно, в детстве, отец в первый раз повел меня в Эрмитаж и мы вошли с ним в узкий зал, где хранятся древности скифов. Я отошел в глубоком удивлении.

Так бродил я в этой недоступной области. Порой я останавливался, шаги мои стихали, и тогда безмолвие этих странных залов было невыразимо глубоко и мертвенно; его нельзя было сравнить ни с каким другим безмолвием. И как тенисты, таинственны, жутки и грустны были эти невозвратные покои. В залах нижнего Эрмитажа никогда не бывает особенно светло даже в ярко солнечные дни; а тусклое сияние небес стереоскопного мира разливалось по буроватым залам лишь смутный загадочный сумрак, который особенно сгущался в отдаленных углах и закоулках. И порою, повинуясь влечению, порождаемому в нас всем неизвестным и страшным, я нарочно направлялся к этим темным местам, чтобы опознать их и припомнить. Там я смутно различал тогда знакомую вазу на подставке или шкаф с танагрійскими статуэтками; там иногда встречал я и немые неподвижные человеческие фигуры, непобедимо жуткие в глубоком сумраке уединенных закоулков. Теперь я уж совсем овладел своим страхом, хоть он и таился в сердце; неизведанное упоение пронизывало меня все сильнее; и я думал о том, как все это невыразимо, ненасытимо странно.

Так я достиг вестибюля – открылась огромная лестница, ведущая в верхние залы, и стало светлее. Те же куклообразные, давно минувшие люди стояли у вешалок. Мельком увидел я коричневое лицо швейцара, державшего пальто, и стеклянные глаза того, кому он помогал недвижно его надеть, на мгновение вперившиеся в меня, когда я проходил мимо. Я стал медленно подниматься по отлогим ступеням. Припоминался тот день, когда я с отцом давно-давно всходил первый раз по мраморной лестнице Эрмитажа; переживалась вновь растерянность перед бесконечным рядом ступеней и странное затруднение в ногах. И теперь, стоя в недрах мига, застывшего тридцать лет назад, и глядя на выцветший призрачный лестницы, я думал: «Быть может, лишь вчера прошел я, мальчик, с отцом по лестнице впервые? или, может быть, пройду по ней впервые еще сегодня через полчаса?» Потом я спрашивал себя: не сплю ли я? не во сне ли вижу эту невероятную область стереоскопа? Я проводил рукой по глянцевиной стене и ясно ощущал ее твердость и гладкость; я несколько раз щипал себя за щеку и дергал за волосы, думая, вот-вот проснусь, но не просыпался.

В залах верхнего этажа было светлее, но все же свет, проникавший сквозь окна и стеклянные потолки, был призрачен и печален. Паркетный пол рождал отзвуки шагов более гулкие и протяжные, чем каменные плиты там, внизу. Призраки знакомых залов открывались мне один за другим; ряды картин, знакомых, но лишенных живых их красок, глядели на меня со

стен. Заметно больше, чем внизу, было здесь покойных посетителей; повсюду были их целые толпы. Казалось, я присутствую на мертвенном собрании восковых фигур в человеческий рост. Они стояли, вперяя в картины свои стеклянные взоры; некоторые, слегка закинув голову назад. Иные смотрели в каталоги; другие беззвучно разговаривали друг с другом, навсегда приоткрыв свои рты; и лица их от этого были странны и порой безобразны. Иные сидели в креслах и на диванах. Какой-то старик, казалось, пытался объяснить что-то двум дамам (некто минувший – таким же, как и он, минувшим!), и вечная поза его была причудлива: он как-то присел, склонившись слегка набок и разведя руки, и неизменное лицо было жутко и вместе смешно. Я был один живой среди них, выцветших, призракам подобных! Я пришел одинокий в их невозвратное обиталище! Но страх словно совсем исчез в моей душе; старое волшебство овладело ею всецело: сбылись старые предчувствия.

И неожиданно пришло мне в голову нарушить безмолвие прошлых залов; я крикнул громко и протяжно: «А-а-а-а!» Как описать впечатление от этого крика? Он быстро отрезвил меня от моего упоения и снова вселил в сердце шемящую жуткость. Звук ударился в стену и пробежал по карнизу, поблекший и пугающий. «А-а-а» – отозвалось в соседнем зале: «а-а», «а-а» – отзывалось все дальше и дальше в призрачных обширных покоях. И чудилось, что отзвук обошел все мертвые залы наверху, спустился вниз, в сумрачные покои нижнего этажа, и смутно разгуливал и там. И наверху, и внизу ему внимали, не шелохнувшись, одни лишь безответные двойники. И когда замер и затерялся последний отзвук, в призрачные залы вернулось их безмолвие, невыразимо глубокое и вечное. Больше я уж не кричал.

Страх поприших, и я опять бродил из зала в зал, будя в их тишине бесцветное эхо шагов. Потом я вновь очутился перед лестницей, уходящей бесчисленными ступенями вниз, в буроватые сумерки вестибюля. У вешалок снова увидел я двойника, что застыло наклонился вперед и ловил руками, откинутыми назад, пальто, неизменно ему подаваемое; и снова на мгновение мне пересек дорогу его упорный взор. Вновь охватили меня полусумрак и прохлада нижнего Эрмитажа.

Вот глянул мне навстречу Египетский зал, глубоко знакомый и вместе чуждый в своей здешней призрачности. Он и настоящий беден живыми красками и светом, здесь же обступил он меня выцветший до конца, буроватый, тонуший в мертвенной мгле. Он был бесконечно безмолвен; был страшен и влекущ. В таинственном сумраке прислонялись к стенам ассирийские барельефы; из стеклянных футляров глядели исполины, запеленутые, с грозно-веселыми и загадочными лицами; мрачными рядами стояли саркофаги; высился темный облик Сехт со львиной головой. Нигде странный сумрак стереоскопного мира не был так сгущен и так уныл, как здесь; особенно глубокие тени залегли меж выступами той стены, где наверху у потолка прорублены квадратные окна с крылатыми фигурами. Страшное веяло из этих темных углублений, где глаза мои, еще не отвыкнув от более яркого света верхних залов, сперва даже не могли ничего различать. Я простоял неподвижно несколько минут, слушая мертвую тишину давно прошедшего. В голове бродила смутная мысль: «Быть может, всего за полчаса в этот зал вошел в первый раз в жизни мальчик с отцом и впервые пахнули ему в душу от темных каменных саркофагов и расписанных деревянных гробов загадочные чары Древнего Египта?»

Потом я подошел к одной из круглых витрин и заглянул в нее. Там лежали амулеты – священные скарабеи, большие и малые, темные и светлые всех оттенков унылого бурого цвета. Я глядел на них, и внезапно пришло в голову достать из витрины которого-нибудь из них. Эта мысль страшила, но была соблазнительна. Машинально, не думая, что делаю, я надавливал пальцами на стекло; вдруг неожиданно оно странно хрустнуло, и кусок его упал внутрь витрины. Жалобный звенящий звук пронесся по залу. Отверстие в стекле было еще мало, и я стал вынимать другой кусок. Я стоял наклонившись, но углом глаза неясно ощущал темное углубление налево от себя, лежавшее между двумя выступами стены. Скоро рука проникла в витрину, и один из скарабеев был вынут; дивясь, ощущал я холодную твердость призрачного камня.

Вдруг внезапный страх проник в меня: я почувствовал на себе неподвижный тяжелый взор; он глядел из сумрака того углубления, которое я ощущал сбоку от себя налево. Я быстро поглядел туда. Там, в углу, за небольшим белым изваянием безмолвно стояла низенькая темная фигура, смутно вырисовываясь в сумраке. Она упорно смотрела на меня, должно быть, с самого того мгновения, когда я подошел к витрине. И вот, когда я, не поднимая еще головы, лишь повернул ее в ту сторону, глаза мои встретились с ее упорно вперенными глазами, слабо отражавшими свет. Я выпрямился, отшатнулся назад и уклонился от мертвого взгляда. Не раз и раньше ловил я на себе застылые взоры обитателей этого мира; но эти глаза были особенно, непобедимо страшны. В них почудились мне укор и угроза; мне казалось, что я застигнут на месте преступления. И я понял вдруг, что свершил таинственное святотатство, ограбив витрину с темными двойниками скарабеев. С амулетом в руке, подавляя нарастающий страх, я стал приближаться к призраку. Я рассмотрел, что это была дряхлая старуха, низенького роста, сгорбленная, в темном старинном салопе, со странной шляпой на голове; подавшись вперед, она опиралась на свой зонтик и вперяла тяжелый взор в одну вечную точку. Смутные впечатления и мысли пытались в моей голове облечься в слова: «Почти тридцать лет назад какая-то причудливая старуха бог весть зачем забрела в Эрмитаж и бродила по нижним залам; и, зайдя в Египетский зал, остановилась в уголку и смотрела оттуда прямо перед собою слегка поверх витрины со скарабеями, бессмысленно и таинственно, старыми глазами. И вот с тех пор застывший двойник ее в недостижимых областях стереоскопа вечно охраняет стеклянным взором темные амулеты и с ними глубокие тайны этих областей. А я пришел и дерзкой кражей посягнул на эти тайны»... Так говорил я себе о старухе.

Я подошел к ней сбоку, избегая мертвой вперенности ее глаз; обошел ее сзади. Я принудил себя дотронуться до ее салопы, приподнял край его, опустил и смотрел, как он слабо раскачивался и шевелился, пока снова не замер неподвижно. Она походила на безобразную и страшную фантошу. Теперь я мог рассмотреть ее довольно хорошо. Сухая костлявая рука судорожно сжимала ручку зонтика, виднелась щека призрака, покрытая морщинами; жидкие волосы его начинались над ухом и уходили под старомодную шляпу; и эти коричневатые тоны лица! Я хотел уже отойти, но странное побуждение влекло меня еще раз заглянуть ей в глаза. Я нагнулся и заглянул решительно. И вот то, что еще издали пугало меня, я увидел близко, в полуаршине от собственного лица застывшие подробности этих глаз, и я отшатнулся с дрожью ужаса. Затем произошло нечто, показавшееся безобразно-страшным. Фантоша качнулась, стала склоняться набок медленно, потом быстрее и быстрее и наконец рухнула на пол мягко, почти беззвучно; зонтик выпал из ее рук и с бледным звуком ударился о плиты пола. Я отскочил с воплем ужаса на несколько шагов и замер, смотря на двойника; он лежал недвижной темной кучей, а по потолку зала бежало эхо моего крика, смутно умирая среди безмолвия призрачных залов. Еще несколько мгновений стоял я так, потом повернулся, бросился прочь и выбежал в вестибюль.

Я бежал долго; наконец остановился с холодным потом на лбу и неистово колотящимся сердцем. Я старался прийти в себя, уяснить себе сущность происшедшего. Почему она опрокинулась? Задел ли я ее незаметно для себя? Или дрогнула под моими ногами какая-нибудь из плит в полу? И казалось и непобедимо верилось: старуха сторожила выцветший зал Египта и падением ее потревожены страшные тайны призрачного зала и всего невозвратного мира. Таинственный ужас, который я доселе покорял в сердце, теперь вырвался на волю и завладел им. И в первый раз пришло мне в голову: «Как вернуться мне назад, как вырваться отсюда?»

И только тут я понял, что меня ждет отчаяние. Я был одиноким живым, затерявшимся в этих мертвенных областях, отрезанных непереступаемою гранью от мира жизни и настоящего. Я не знал, каким путем я проник сюда; как же мог я найти путь отсюда? И если мне и удастся наконец отыскать выход, то сколько времени пройдет до этого? Что, если до тех пор со стереоскопом, что стоит на столе моем под лампой, случится что-нибудь? Не обречен ли я

остаться навсегда в тусклой стране, где обитают лишь вечно неизменные двойники минувших, где в сумрачном зале недвижно лежит навзничь безмолвный призрак со страшными глазами? Я весь покрылся холодным потом; сердце ныло от ужаса и смятения.

Тогда я решил не дать им овладеть мною до конца. Я попытался обсудить все хладнокровно, обдумать, что мне делать. Я увидел, оглядевшись, что стою недалеко от больших шкапов с книгами; неясно и знакомо высится в десяти шагах от меня огромная голова на высоком постаменте, а впереди, сзади и налево уходят вдаль выплывшие пространства обширных покоев. Я встал в темный угол между стеной и шкапом и прижался спиной к стене, чтобы ни один из молчаливых обитателей зала не находился сзади меня. Там стоял я неподвижно, сам словно чей-то тихий двойник, и старался собрать мысли. Но долго это не удавалось; только глаза мои бесцельно и полусознательно изучали сеть жилок на мраморе минувшей стены в полуаршине от меня, а в голове назойливо и бессмысленно бились какие-то стихи, бог весть почему всплывшие в памяти: «И будто стоном в темной бездне отозвалось и умерло, отозвалось и умерло»...

Потом сердце стало стучать спокойнее, и мысли несколько прояснились. И тогда внезапно и как бы сам собою явился ответ на страшный вопрос. Я понял, что у меня всего один путь, где я могу попытаться счастье: нужно найти то место на полу, откуда сделал я первый шаг в своем странствовании по недрам стереоскопа, встать и ждать; что могу я сделать больше? Быть может, то же самое чудо, что бросило меня сюда, унесет меня снова отсюда в жизнь и настоящее. Я вышел из своего убежища и направился к Зевсову залу. Я шел осторожно, стараясь не будить шагами эхо, не останавливаясь, не вглядываясь в редкие фигуры, сторожившие в сумраке. Один зал, потом другой; вот капельдинер, старый знакомец; вот высокий двойник с каталогом в руке. Длинный ряд призрачных залов свернул налево, показался вдали зал Олимпийца, посреди него уже вырисовывалась неподвижная фигура фотографа. Вот небольшая полутемная комната: лысый человек по-прежнему стоит, повернувшись к окну, и свет смутно отражается на голой голове его. Вот, наконец, и зал Зевса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.